

K1170802

ДВОРЦА



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «23 ГПЗ»
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ВОЛОГОДСКИЙ ПОДШИПНИК»



Д В Е Р Ц А

Сборник стихов и прозы,
посвященный 20-летию выпуска первого подшипника

Авторы сборника — работники ПО «23 ГПЗ» и участники заводского литобъединения «Ступени».

Общая редакция — Юрия Леднева.

Составитель — Галина Щекина.

Художники — Владимир Бараев и Татьяна Улина.

ОТ «РОСТКОВ» ДО «СТУПЕНЕЙ»

Тринадцать лет назад судьба связала меня с 23 ГПЗ. Тогда я только приехал в Вологду и сразу же окунулся в ее литературную жизнь.

Крепкая писательская организация, возглавляемая в то время сначала Александром Романовым, а затем Виктором Коротаевым, вскоре приняла меня в свою семью.

Я хорошо помню, сколько терний встречалось в юности на моей поэтической дороге. Вот почему я с таким пониманием, с таким жадным сочувствием слежу за шагами теперешних начинающих. Вот почему хочется поддержать каждого из тех, кто дерзостно взялся за перо и показал, что держится это перо в его руке достаточно крепко. Вот почему, когда редакция газеты «Вологодский подшивник» предложила мне вести на заводе литературное объединение, я согласился с великой радостью.

«Ростки» — так называли мы наш кружок. На первое занятие пришло около десятка молодых подшивниковцев. Из всех запомнились мне Лариса Мокшева и Владислав Кокорин. Теперь у обоих этих кружковцев есть уже заметные выступления в печати, и мне отрадно, что те литературные диспуты в маленькой тесной комнатке заводской многотиражки не пропали даром. И Кокорин, и Мокшева заслуживают собственных поэтических книг, жаль, что это событие слишком задержалось. Особенно обидно за Ларису. Помнится, она тогда работала на 23 ГПЗ техником-экономистом. И вот появились ее первые стихи в областной печати. Утром вышла газета, а в середине дня мне позвонил Виктор Петрович Астафьев:

— Кто такая Лариса Мокшева?

— Начинающая поэтесса. Техник-экономист на заводе.

— Побольше бы таких техников в литературе! Ты знаешь, у меня есть заветная записная книжка, куда я записываю или вклеиваю незаурядные стихи. Так вот, передай Ларисе, что ее стихотворение удостоилось попасть в эту книжицу...

Речь шла о стихотворении «Ночь недолга, по-летнему светла...» Весьма показательно: маститый писатель высоко оценил творчество начинающей. А вот издательство «Молодая гвардия» через несколько лет ничтоже сумняшеся отвергло рукопись Ларисы Мокшевой. Нелепо!..

Однако я отвлекся от истории литобъединения. Вернусь к началу. Вот говорят, что «лиха беда — начало!». В том смысле, что дальше, мол, легче. Что ж, наверное, это действительно так. Вскоре редакция «Красного Севера» обратила внимание на наши опыты и предложила нам расширить аудиторию. Были предоставлены нам и более солидное помещение для занятий, и более солидная трибуна для выступлений.

Литературное объединение получило новое имя — «Рифма». Так предложила Александра Сергеевна Кибардина, которая возглавляла тогда отдел культуры в редакции и охотно печатала наши подборки. Хотя тогда в нашу семью влились студенты, все равно костяком «Рифмы» долгое время оставались ребята с Вологодского подшивпникового.

Во времена «Рифмы» на занятиях уже срывали первые лавры Вячеслав Белков (в то время он писал стихи и печатал их под псевдонимом «Желтый»), Михаил Карачёв, Юрий Каранин, Николай Медведев, Валентина Якуничева.

Появились у нас тогда же первые «заочники», которые присылали произведения по почте, а иногда и сами приезжали в гости. Это были Николай Дружининский из Грязовца, Авенир Лазарев из Бирякова, Василий Мишенев из Никольска, Василий Ситников из Великого Устюга. Кто следит за литературной жизнью области, тому не в диковинку и эти имена.

Должен сказать, что нет среди писателей-вологжан никого, кто не побывал бы на занятиях или как-то иначе не поддержал литературное объединение. Через восемь лет я передал руководство областным «литом» (такой статус мы получили к тому времени) поэту Виктору Вениаминовичу Коротаеву. До недавнего времени это «литом» работало при редакции «Вологодского комсомольца» и называлось «Творчество».

Года четыре назад я приехал на 23 ГПЗ почитать стихи, поговорить с заводчанами на литературные темы. Встреча состоялась в профсоюзной библиотеке, после выс-

тупления ко мне подошла заведующая Ангелина Сергеевна Соловьева. Предложение, которое высказала она, всколыхнуло в памяти многое. И то, как сам я когда-то был начинающим литкружковцем, и первые шаги «Ростков» на заводе. И я опять не устоял. Согласился проводить в библиотеке литературные «четверги». Так возродилось литературное объединение 23 ГПЗ, как птица Феникс из пепла.

«Четверги» проводились в библиотеке, сопровождались они чаепитиями. И потому называть наше содружество мы стали «За чашкой чая», или просто — «За чаем». Первым старостой возрожденного литобъединения стал прозаик Юрий Богословский, который предложил сделать наш кружок противоалкогольным. И долгое время мы оправдывали этот эпитет, по крайней мере до тех пор, пока партия и государство не сменили трезвый курс на новую волну спаивания трудящихся. Поняв тщетность наших потуг на общем фоне повальной талонной лихорадки и взвинчивания цен на спиртное, мы, по совести говоря, все-таки остались теми же. Ведь в нашем уставе до сих пор есть строка: «Творчество и алкоголизм — несовместимы».

Недавно у нас прошли перевыборы старост. Сначала старостой стал Авенир Лазарев. Затем его сменила Лариса Новолодская. А называемся теперь мы опять по-новому — «Ступени». Имя это родилось в результате конкурса, который мы провели у себя. Думается, что такое название оправдано. Мы все вместе действительно как бы идем по ступеням литературного мастерства. И надеемся, что это движение не вниз, а вверх.

«Вологодский подшипник», который был инициатором первого нашего зачина, и ныне живо интересуется своим детищем. Первые публикации наших стихов и прозы исправно появляются на страницах этой газеты. Да и самим появлением этого сборника мы обязаны также редакции «Вологодского подшипника».

О содержании книги не хочу говорить. Пусть судит обо всем читатель. Скажу только от лица всех участников «Ступеней»: мы искренне рады выходу к читателю и надеемся на взаимность.

Юрий Леднев, руководитель литературного объединения «Ступени» ПО «23 ГПЗ».

СТИХОВ БЕЗДОННАЯ СТИХИЯ

НАТАЛЬЯ МАСЛОВА



Вологодская поэтесса, о которой В. Коротаев сказал так: «Лучше Масловой никто не писал о любви».

Окончила педагогический институт. На 23 ГПЗ работала с 1974 по 1980 год. Заведуя техкабинетом, была душой многих интересных мероприятий, которые проходили ярко и с пользой для дела. Умеет принять чужие беды и заботы, как свои.

Стихи Н. Масловой печатались в областной периодической печати в 60—70-е годы.

* * *

Мне было лет пятнадцать,
Проснулась поутру
Смотрю — перо жар-птицы
Трепещет на ветру.
Его я подхватила;
Июньская жара...
В реке два рыжих солнца
Поймала в два ведра.
Легко мне было ведра
С такой водой нести —
Кому-нибудь хотелось
Дорогу перейти...
Мне было восемнадцать,
И я, душой светла,
Стихи в тетради школьной
Однажды принесла.
«Обилие метафор
И образный язык,
А где гражданский пафос?» —
Вопрос тогда возник.
«Не мыслишь ты глобально,
Масштабней надо петь,
В глуши провинциальной

Весь век тебе корпеть».
 В провинции дороги
 И жизнь пока не блеск...
 Писала понемногу
 Под барабанный треск,
 И камерный свой голос
 Сумела сохранить,
 Как хлебный теплый колос,
 Как солнечную нить...
 Пишу о чем придется —
 О горе и добре,
 Качающемся солнце
 В серебряном ведре.
 И болью, и печалью
 Наполнено ведро,
 Но четко различаю,
 Где зло, а где добро.

* * *

Люблю отчизну я,
 но странно любовью...
 М. Ю. Лермонтов

Эх, районная провинция,
 Серость, пыль и нищета,
 Допотопная гостиница
 И церквушка без креста.
 И толпа стоит у винного:
 Там «российскую» дают,
 И, совсем еще невинные,
 Рядом мальчики снуют.
 Там нигде в глаза не кинется
 Запустение в быту.
 Только в северной провинции,
 Где все сразу на виду:
 На одной увидишь площади
 Храм, ободранный до пят,
 И сусальный, доморощенный
 Старый лозунг и плакат.
 И пусты ряды базарные —
 Да и что туда носить...
 Как провинцию товарную
 Поскорей бы воскресить?
 Говорю России-матери
 Правду горькую в глаза:

Всем на самобранки-скатерти
Нам рассчитывать нельзя.
И за что себя ты мучаешь
В давнем прошлом и сейчас,
Ищешь вновь причины жгучие
Лишь в кумирах каждый раз?
Если всем известно с древности
Что вина и на тебе:
В пьянстве, зависти и лени,
И покорности судьбе.
Словом правды не порочу я
Жизнь нелегкую твою:
Ты дала мне радость творчества,
Силу духа и семью,
Но твои ошибки горькие,
Заблуждения твои
Выбивают души гордые
Из нормальной колеи.
И тебя, такую милую
Сердцу русскому всегда,
Сколько лет казнить и миловать,
Сколько нравственно страдать?..

* * *

Построил церковь русский зодчий,
Награду принял от царя:
Ему решили вырвать очи —
И по щекам холодной ночью
Катилась каплями заря.
Подрезали седые крылья
У человека на лету,
Чтобы опали те в бессилье
И никогда не повторили
Святую храма красоту.
А утром зодчий был у храма,
Свой день встречая в темноте.
И высоко под облаками
Он ослепленными глазами
Увидел солнце на кресте.

Солнце садится,
 Словно жар-птица,
 Тихо на краешке дня.
 Светлою грустью
 Ласковый Устюг
 Снова встречает меня.
 Город старинный,
 Неповторимы
 Кротость седой красоты,
 Почерк вечерний
 Северной черни,
 Четкие храмов кресты.
 Мудро печальный,
 Провинциальный,
 Творческих тайн закрома.
 И не тоскою —
 Мирным покоем
 Старые дышат дома.

* * *

Однажды церковь древнюю взорвали,
 И в небеса взлетели купола.
 Под плач печальный бабушки кричали
 На милых внуков, рушивших дотла
 Ту красоту, что берегли веками.
 В бездумный миг,
 В безнравственном хмелю
 Хотели сокрушить —
 За каждый камень,
 Кирпич — платили детям по рублю.
 И бросились старательно ребята
 Разламывать отцов и дедов храм.
 Что взять с детей?
 Они не виноваты,
 И не на них падет и стыд, и срам.
 Один из тех простить себе не может,
 Уже старик и сын родной земли...
 Весь долгий путь его почти исхожен,
 Но руки жгут проклятые рубли.

* * *

Пусть краски северные скупы,
Прохладны от лесных ключей,
Светлы они, как лунный купол,
Ясны, как северная чернь...
Ловлю я взгляд старинных фресок,
Вновь становлюсь душой светла...
Не могут славному прогрессу
Мешать седые купола...

* * *

Все чаще на Леже бывает
Моя краснобокая «Обь»...
На родине деда сбиваю
Росы сизоватую дробь.
Здесь ловится не золотая,
А рыбка простая моя,
Но каплями солнца сверкает,
Искрится ее чешуя.
Здесь вечное что-то, святое
Таят купола облаков,
И в чашке моей не снятое —
Живая вода — молоко.
Плывут берега некрутые,
На них ивняка бахрома,
И вьются стога золотые
На теплой вершине холма.

* * *

Предугадать пока нельзя...
Но, может быть, все в божьей воле,
Мои зеленые глаза
Увидишь на зеленом поле.
Предугадать пока нельзя,
Съедим ли мы с тобой пуд соли,
Поэтому мои глаза
Запомни на зеленом поле.

Смотрю на вырубки рябые,
Бинты снегов на свежих пнях...
Сегодня ранили рябину,
Как будто ранили меня.
И не осколками прошили.
Война здесь вовсе ни при чем:
Подшибли просто по ошибке
Рябины хрупкое плечо...
И тут бывает не до сказки
О людях добрых или злых,
Когда ложатся, как повязки,
Снега на сучья, на стволы...

* * *

Гроза вослед мне грозно грохнула.
Тропа забыта. В тот же миг
По изумрудам по гороховым
Бегу по полю напрямик.
Лучами солнечными скошенный
Град разлетелся по земле...
Роняют крупные горошины
Глаза зеленые полей.

* * *

Знаешь, день откуда начинается?
Он встает
С листа бумаги строчкой,
Улыбается
Румяной дочкой
И лучом стремится каждый раз
Из твоих родных
Любимых глаз.

* * *

Себя я помню рядышком с подсолнухом,
Я силу набирала вместе с ним.
Мы вырастали под одним под солнышком,
Под небом и под дождиком одним.
Простите мне, подсолнухи горячие,
Что ваше материнское тепло

В краю отцовском очень щедро трачу я.
В моей душе морозно и светло.
Сроднилась я навеки с краем северным,
И в землю примет оя меня свою...
Подсолнуху я спела песню первую,
Березе я последнюю спою.

* * *

Желтое, Красное, Черное
Плещутся где-то моря...
В светлой стране
Вытегории
В самом конце сентября,
В пламени ярком осинника
В чистом озерном краю
Море увидела Синее —
Дивную сказку свою...
Только у самого Синего,
Снова поверив в себя,
Стала я стойкая, сильная.
Так не мешай мне, Судьба!
В трудные дни свои верила:
Море найду все равно...
Мне повезло, что на Севере,
Рядом со мною оно.

* * *

В краю болотном Белоручейском —
Смотря на что нацелишь глаз,—
Берез увидишь белы рученьки
Или одну заметишь грязь.
Когда протерто небо тучами,
Светла осенняя пора,
В краю озерном Белоручейском
Роняет капельки заря.
И клюквы алые горошины
На кочки сыплются тотчас.
Ковры брусничные наброшены,
Осины в ярких кумачах.
Стоят березы-вытегорочки
И бескорыстно, ни за чем,
Червонцы сыплют на пригорочки
В незамерзающий ручей...

На могиле поэта

Все ненужное временем вымыто,
Ты поэта судьбу не тряси,
О покойниках плохо не принято
Говорить у нас на Руси.
Отвергаю предвзятое мнение
Про особую жизнь и судьбу.
Как у смертных у всех, и у гениев
Нет от смерти печати на лбу.
Что бы там знатоки ни пророчили
О бессмертье души и стихов,
Вижу: плиты камней наворочены
На холодной могиле его.
Если б знать, отыскать бы тропиночки,
Чтобы дольше по жизни он шел...
Только нет их, и вьются травиночки
Под рукой моей в ласковый шелк...
Как светло ты, надгробье поэтово:
Не затрону твою чистоту,
Лишь слезою своей незаметною
До земли проколю я плиту.

Дочери

Не печалюсь я, что тают
Волосы мои:
По плечам твоим стекают
Косы — две струи,
Не боюсь, что в землю, в небо
Час придет уйти;
Все твои несчастья мне бы
Дальше отвести.
А печали рядом будут
Их не отведу:
Испытаешь разве радость,
Не узнав беду?

* * *

Да святится имя твое,
Родина.
Да будет воля твоя,
Родина.
Мир на земле

И теперь, и в грядущем.
Хлеб на столе
В каждом доме насущный.
Улыбки детей и стариков
Во веки веков
Сохрани, Родина.

* * *

В поле плещется синяя
Льняная волна.
Задержалась Васильевна
У цветущего льна.
Поправляет косыночку —
Ветерок развязал.
Лепестки светло-синие
Залетели в глаза...
А потом непосильное —
Военный вокзал...
Будет лен у Васильевны,
Словно в росах-слезах.
И с ее светлым именем
В свой последний поход
Лепестки кто-то синие
Навсегда унесет.
Ах, Мария Васильевна,
Посмотри, как волна
Снова плещется синяя
Из цветущего льна.
И девчонка красивая
С лепестками в глазах
Поправляет косыночку —
Ветерок развязал...
Я не верю, Васильевна,
Что в последний поход
Лепестки эти синие
Кто-то вновь унесет.

* * *

Как часто сидела я в детстве
На круче, над старым Днепром,
И мать украинскую песню
Не раз напевала о нем...
Когда ее песня умолкла,

Увидела я наяву:
Вечернего солнца осколки
Упали, как вишни, в траву.
Отец, тосковавший на юге
По Вологде зимней, лесной,
О севере, словно о друге,
Беседовал часто со мной.
О крае далеком, рябиновом,
Он, севера истинный сын,
Мне пел, и горели рубинами
В глазах моих гроздьях рябин.
Живу на земле, где осинки,
Где прячется солнце в стога...
Мне каждая клюквы кровинка
В отцовском краю дорога.
Но в зимнюю стужу нередко
В березовом снежном цвету
Я чувствую каждую клеткой
Днепровской волны теплоту.

* * *

Ни облака на предвечернем небе.
Расчесывая тихие поля,
Ты уронила в речку солнца гребень,
Моя зеленокосая земля.
Настанет ночь. Уснут твои селенья.
И у тебя заботы впереди:
Ведь не одно людское поколение
Еще приложишь ты к своей груди.
Но что тебя тревожит в этот вечер?
Что не дает спокойно отдохнуть?
Какая тяжесть падает на плечи,
Которые немислимо согнуть?
Ты вспоминаешь рваные воронки,
Смертельные ожоги на траве,
Как в пепла серо-сизые пленки
Своих ты пеленала сыновей.
В душе твоей тревога нарастает
В такие предвечерние часы,
И сразу выступает, выступает
На лбу твоём холодный пот росы.

Ты вся от солнца золотая
 Стоишь в окне...
 Настанет день, и мы растаем,
 Как первый снег...
 Когда весною прошебечут
 В лесу ручьи,
 Они подхватят наши речи —
 Твои, мои.
 Слегка береза встрепенулась
 От ветерка.
 Чья это веткой потянулась
 Ко мне рука?
 Когда-нибудь зеленым летом
 Под синевой
 Кивнет моей подсолнух светлой
 Головой.

* * *

Хвост
 Серебристо-голубой —
 Красу русалок, —
 Чтоб по земле идти с тобой,
 Я променяла
 На пару ног.
 Но что же мне
 Дается даром?
 Иду,
 А ноги, как в огне,
 Пылают жаром.
 Иду я,
 Словно по ножам.
 Мне очень больно.
 Но губы
 Только чуть дрожат
 И то невольно.
 Хоть в сказке
 Этой голубой
 Я непременно
 Должна,
 Забытая тобой,
 Стать белой пеной.
 Иду легко,

Как лепестков,
Ножей касаясь...
И только мыслью
О тебе
Одном
Спасаясь...

* * *

Так иногда, бывает, устаю,
Что светлый день покажется бездонным,
Но вдруг покроют голову мою
Под вечер солнца теплые ладони.
Увенчанная солнечной короной,
Усталости не чувствуя, стою...
И ласковые дочери ладони
Всем существом своим я узнаю...

* * *

Горят костры осенние на дачах,
И облаков тускнеет белизна...
А я, не оставляя неудачи,
В твоё бросаюсь пламя, березняк.
Теперь мое плохое настроение
И все, что есть нелепое во мне,
Пусть сгорит в пламени осеннем,
Пусть горит в березовом огне.
Как небо надо мной склонилось низко!
Охваченная племенем, стою,
И листья осыпаются, как искры,
На голову горячую мою...
Сгорает все — обиды и печали,
И разочарования в друзьях.
Мне стало легче.
Но зачем прощально
Ты в это утро вспыхнул, березняк?

* * *

И я не против грусти и сомнений,
Но разве мы имеем право ныть,
Мы, первое на свете поколение,
Не знавшее войны? Как не ценить
Того, что небо мирное такое,

Того, что осень нынче так щедра,
Что наши дети по дороге в школу
Щебечут, словно ласточки, с утра?

* * *

Совсем недавно можно было людям
Существовать в неведение святом,
Жить с верой и надеждою на чудо,
Что лучшее их ждет на свете том.
А нам в одно досталось верить чудо,
Что каждый день наш — светлой жизни миг...
Но как его прожить на радость людям
С добром и для себя, и для других?

* * *

Осень рассыпала буквы —
Ягодный свой алфавит.
В кочках проклюнулась клюква:
Надо мгновенье ловить.
Грязью болото плюется,
Лезет осока в лицо...
Как нелегко мне дается
Красное клюквы словцо.
Только и я не теряюсь,
Только и я не сдаюсь —
Чаще к земле наклоняюсь,
Клюкву, как птица, клюю.
Ягода крупная вышла,
Сочная в этом году,
Как приднепровская вишня
В мамином теплом саду...
Вьется тропинка сырая,
С полным иду рюкзаком
И на ходу вытираюсь
Инея белым платком.

* * *

Под вечер всё умолкло,
Одна я в тишине.
Безмолвный лунный колокол
Не мешает мне.
Волна качает лодку,

Давно остыл мотор,
И сумерек полотна
Мой осветил костер
Березовый, горящий
Так ярко на ветру...
Сосны зеленый плащик
Полощется в бору.
Вдруг вышел к водопою
Лесной могучий лось.
Впервые мне такое
Увидеть довелось.
Стоял он долго-долго,
Напился не спеша.
Костер, как птица, шелкал,
Но лосю не мешал...
Все было настоящим:
И лось, и водоем,
Ты, вышедший из чащи
С опущенным ружьем.

* * *

Мой Север,
Назвали неброским,
Неярким и серым тебя.
От имени каждой березки,
От ивы, с косою до пят,
От имени звездных ромашек,
Купальниц твоих золотых,
И сосен синеющих башен,
И шишек, из солнца литых,
И зелени, яркой и сочной
На светлом речном берегу,
Где аленький солнца цветочек
Под вечер цветет на лугу,
От имени синего света,
Залившего утренний лес,
Тому, для кого ты бесцветный,
Я свой выражаю протест,
Мой Север...

* * *

Под свист комариной метели,
Припав к золотому костру,



Свое приворотное зелье
У Кибаксы-речки варю.
Готовы лесные приправы,
Воды набираю в реке,
И плещутся звезды и травы
В моем колдовском котелке.
Лучом уходящего солнца
Зеленое зелье земли
Мешаю до самого донца,
Золою слегка подсолив.
Колдуя у края болота,
Я варева в кружку налью
И зельем своим приворотным
Тебя перед сном напою.
Чтоб нас никакие напасти
С тобой разлучить не смогли,
Тебе наливаю на счастье
Зеленое зелье земли.
В нем травы родимого края
И соки земные ручьев,
Поэтому сила большая
Таится в напитке моем.
Повис над речною купелью
Туман сероватым холстом...
Как пахнет зеленое зелье
Смородины свежим листом!



АВЕНИР ЛАЗАРЕВ

Родился в 1942 году. Писать начал с 4 класса средней школы. На заводе работает более шести лет. Ныне — сотрудник редакции газеты «Вологодский подшипник». Его статьи не раз публиковали областные и городские газеты. О себе А. Лазарев сказал бы так: «Капитан, социолог, журналист и поэт...»

Угли из загнеты

Поэма

I

Сломало ветром шумных перемен
в крестьянских поколениях обычай...
Клеймо «неперспективных» деревень
и к родине моей пристало нынче.
Взметенные эпохой на крыло,
мы от добра искать добра летели,
а старый дом, оставшись не при деле,
о будущем скорбел и о былом:
«Ужель меня порушат на дрова,
совсем забыв мои заслуги в прошлом,
когда, неся забот крестьянских ношу,
имел на уважение права?
Ведь был же я опорой для сельчан,
надеждой и опорой в судьбах многих.
Не зря крестились люди от порога
на «красный угол», где кино сейчас».
Дом помнит гул мужицких голосов
в скандале братьев при его дележке,
когда он встал меж ними на дорожке
еще в плену строительных лесов.
А вот сейчас стоит полупустой,



давно забытый повод для раздоров,
но самый близкий женщине простой,
чья неомощность неволит ехать в город.
Та женщина — моя старушка-мать.
Ее нужда — совсем не частный случай:
на зиму из деревни уезжать,
коль выхода не существует лучше.
Но как же дом, что дорог ей в судьбе?
Здесь жалости одной, наверно, мало.
Трем поколениям до рожденья мамы
тепло уюта он хранил в себе.
Порог избы изношен тыщей ног,
вносивших в дом и радости, и беды.
Его однажды под присмотром деда,
не без труда, и я осилить смог.
Но быстро мчалась вереница дней,
и мне под крышей дома тесно стало.
Как будто говоря: «Счастливо, малый...» —
дверь скрипнула печально мне вослед.
И мать одна, пока хватало сил,
держала дом, гостям бывала рада,
но возраст изменения вносил
в казавшийся незыблемым порядок.

II

Как трудно старым бросить дом!
Какая боль написана на лицах!
Им жалко не прадедовских хором,
а внуков, не успевших там родиться.
Мать в комнаты идет в который раз.
Вот на шестке подправила заслонку.
Концом платка смахнув слезу у глаз,
зачем-то переставила солонку.
Ей все равно, где остается соль,
но с этою посудинкой невидной
разделены и радости, и боль,
минуты счастья и часы обиды.
Как тяжело, как трудно уезжать!
Как сиротою отчий дом оставить?
И пальцы рук у матери дрожат
не только от натруженных суставов...
Ровесницы явились, как одна,
и даже те, что редко здесь бывали.
В них искренняя грусть была видна:

как свой, отъезд Настасьи принимали.
И каждая, наверно, про себя
подумала: «И мне такая участь...
И мне... А может, сжалится судьба,
даст помереть в своем доме, не мучась?
Вот только где б силенок подзанять,
чтоб до конца свои носили ноги?»
А Марья вслух: «Намедни пишет зять,
что мне и денег вышлет на дорогу...
Непьющий зять попался, и табак,
дочь сказывала, уж не курит боле...
Но не насмелюсь ехать к ним никак.
Ведь там своей уже не будет воли...»
Соседки расспросили, с кем и как
виновница собранья едет в город.
А Марья снова:
— Может, старика
оттоля привезешь о вешню пору.
Тогда вдвоем-то справитесь и здесь.
Каков бы ни был, с мужиком-то легче.
Хоть и старик, а все же польза есть.
Коль занеможешь, то истопит печи,
за хлебом сходит, вычерпнет воды...
Да поищи такого, побойчее,
там в городе-то выбор есть, поди,
не то, что здесь — все жалкого жальчее.
— Ну, что ты, Марья, экое несешь?
Какие женихи для нас, развалин?
— А ты, Настасья, попытайся все ж!
И не таких, бывало, замуж звали.
Поговорили в шутку и всерьез,
как водится, присели на дорогу.
Растрогались, сердешные, до слез,
в напутствиях не позабыв о Боге.
Вот подкатали к дому «Жигули»,
пришла пора подружкам расставаться.
Все отъезжавшую бодрили, как могли,
чтоб с думою-тоской самим остаться.
Водитель бросил коротко: «Пора.
Давайте-ка тихонько станем трогать.»
Невольницею с грустного двора
мать медленно направилась к дороге,
и, словно в чем-то чувствуя вину,
растерянная, повернулась к дому,
отвесила земной поклон ему,

деревне всей, подругам и знакомым:
— Спасибо вам, соседи, что пришли,
даст Бог, то, может, свидеться придется...
И ты мне, Иннокентьевна, пиши,
да присмотри за домом и колодцем.
Как грустный клик осенней гордой птицы,
в прощанье мамы слышалась печаль,
а у старушек скорбная печать
отметила растроганные лица...
Задело и меня прощанье это,
плеснув упреком в глубину души.
Мы с легким сердцем из села спешим
искать приюта и удач по свету.
Да, мы уходим с отчих мест легко,
как полые весной уходят воды,
не думаем, что перемелют годы
родных и близких в слабых стариков.
Мне в оправданье нечего сказать.
Вины с себя нисколько не снимаю,
что клик печальный журавлиной стаи
не понимал я много лет назад.

III

В лесах таится новое шоссе,
как будто видеть никого не хочет.
Минует села, деревушки все,
машинным эхом по тайге хохочет.
Лишь издали, как узники судьбы,
домишки робко смотрят на дорогу,
с последнею надеждой и тревогой
ждут приговора времени-судьи.
Продрогшие осенние леса
и боль «неперспективных» деревушек,
казалось, мама на себе несла,
домам-сиротам согревала душу.
«Нет, не случайно,— думала она,—
дома отцов становятся пустыми.
Что молодежь к родной земле остыла,
в том и моя немалая вина.
Сама считала, что греха таить,
в деревне-то детишкам станет худо,
коль дочь надумает пойти коров доить,
а сын машинным маслом пахнуть будет.
Нередко детям ставила в пример

устроившихся в городе удачно,
добившихся квартир, имевших дачи,
сама же их спровадила за дверь.
Спасибо, что зовут на время жить,
одной-то зимовать не хватит мочи...»
И продолжала рассужденья молча:
«Сумею ли невестке услужить?»
И только город с шумной суетой
заставил все же мать разговориться:
— Здесь и машинам нету воли той,
вон сбились, будто на отлете птицы...

IV

В квартире газ, горячая вода,
и с баней канителиться не надо.
Еще б простора сельского сюда,
тогда бы все удобства старой в радость.
Ни по воду идти, ни по дрова,
полдня не нужно хлопотать у печи.
Но мнится маме, что ее права
на все дела отобраны навечно:
«И как с бездельем таким дружить?
Чем коротать долгуший зимний вечер?
В деревне-то об этом нет и речи.
Там время незаметное бежит.
А здесь сиди-ка вечно под замком!
В дверь позвонят — набрасывай цепочку!
А дома-то прохожий всяк знаком,
и двери запирают только к ночи...»
И все ж квартира — не библейский скит.
Узнала мать о промыслах надомных.
Оформилась она вязать носки —
при деле, да и приработок скромный.
«Вот от меня и людям польза все ж,
да и кормиться даром не пристало.
Нахлебницей-то в тягость всем живешь,
и без меня расходов здесь немало!...»
Между вязаний в кухонной стряпне
она пыталась помогать невестке,
но намекнули осторожно ей,
что здесь меню крестьянскому не место.
Смирилась: «Что поделаешь, и впрямь,
не приготовить мне по-городскому...»
Смирение с обидой пополам

усилило ее тоску по дому.
А днем, одна оставшись, не спеша
пила чаек из блюдца, не из кружки,
и в отчий край неслась ее душа,
встревоженная письмами подружки...
Казалось ей, не кончится зима,
и не дожидаться дней весенних красных,
когда природа повелит сама
снять со светила темную повязку.
И все же вышел для терпенья срок.
Подруга пишет: «Распустилась верба...»
— Домой бы проводил меня, сынок,
и так уж напостыла вам, наверно?
Апрель с дороги снег уже слизал.
Подъем последний «ЛАЗ» берет со стоном...
И снова слезы в маминых глазах,
совсем не те, что при прощаньи с домом.
Навстречу Марья: «Знала, к прибылым!
Все утро нынче уголья стрекали...»
И, помолчав: «А Ольга-то Белых...
И не хворала шибко, как украли...»
Еще с десяток сельских новостей
приехавшей порассказала Марья,
потом к себе на чай звала гостей:
— У вас-то будет первый день угарно.
Настыла печь, да и сама изба.
Теперь ее не скоро-то нагреешь.
Ко мне, Настасья, приходи-ко спать.
Нажиться-то одна еще успеешь...
— Спасибо, Маша, на ночь-то трубу
как протоплю, так закрывать не стану.
И угли из загнеты отгребу...
Уж я и так без дома-то устала...
В руках у мамы, как живой, замок...
Разволновалась. Суета в движеньях.
А я подумал: «Если б каждый мог
иметь такое к дому притяженье?»
Вновь с журавлями сравниваю мать.
Не их вина — с отчизною прощаться...
Мы научились села вспоминать.
Еще бы научиться — возвращаться!

На погосте

*Памяти погибших в Афганистане
посвящаются эти стихи.*

Казалось,
от скорби деревья качались,
толпой обступив небогатый погост,
где много оставлено слез и печалей
и судеб ломается хрупкая ось.
От искренней боли рабочий поселок
в тот памятный день постарел,
как будто горячий афганский осколок
здесь каждому в самое сердце влетел.
И с грустным его хоронили почетом
в земле не чужой —
на тревожной Руси,
где радостей светлую точку отсчета
ветер афганской войны погасил.
Но в этом вина не осколка, не пули,
избравших мишенью российских ребят...
Мы право на жизнь им петлей затянули,
казня слишком поздно за это себя.
Мы сами покорно и долго молчали
и верили слепо в идейную ложь.
Мы до инфарктов нередко серчали,
что нас не хотела понять молодежь.
За эту покорность явилась расплата
ценой дорогою своих сыновей...
Сражались за правду чужую ребята
и гибли... за «умную» ложь, но не с ней!
Березы стоят в изголовьях свечами,
приняв невеселый кладбищенский пост,
как матери наши в великой печали,
придя на свиданье к сынам на погост.

Годы

Наши годы, как в строю солдаты,
соблюдая возраста ранжир,
нам судьбы отсчитывают даты,
заставляя торопиться жить.
Мчатся дни, недели, словно птицы.
Их полет ничем не удержишь,
а у нас от скорости на лицах
след тревог у каждого лежит.

С возрастом болея ностальгией,
мы вернуться к юности непрочь —
в час, когда забот тяжелый ливень
нам бывает пережить невмочь.
Но приносят годы и удачи,
радостей житейских добрый свет,
разом заставляющий иначе
посмотреть минувшему вослед.
В этот час уходят прочь тревоги.
И, забыв, что жизни есть лимит,
мы спешим, как в юности, в дорогу,
чтоб страдать и верить, и любить.

Телефонный звонок

Наконец, телефонный звонок
оборвал тишину кабинета
и вернуться помог
моему уходящему лету.
Сколько было тревожных часов
в ожидании этой минуты,
а звонок телефона без слов
возвратил мое сердце к уюту.
В этом суетном мире большом
много ль нужно сейчас человеку,
чтоб воскреснуть умершей душой
в развороченном бурями веке.
В две минуты всего диалог
наши судьбы нередко итожит...
И простой телефонный звонок
быть надежным спасителем может.
У него остаюсь я в долгу.
И сомненье тревожное гложет —
вдруг до встречи дожить не смогу,
до желаний загаданных —
тоже.

Черная птица

Я узнал, что грусть вперед разлуки
по сердцам жестоко может бить
и сжимать сильнее в объятьях руки,
заставляя искренней любить.
Слышу я, и ты, наверно, слышишь —
время нам отсчитывает срок,

а над нашей временною крышей —
птицей черной — расставанья рок...
И тревожной радости минуты
исчезают, как в песке вода,
унося влюбленных из уюта,
может быть, надолго... Навсегда.
Кто не знал, не чувствовал такого
и любви под осень не встречал,
тот не знает радость покоя
и не слышит, как сердца кричат...

* * *

Не повезло! Но, зная, судьба
тебе назначила такое,
чтоб ты жила не для себя
и не извела покоя.
А мне с тобою повезло.
И, может, легче станет ноша,
которую без лишних слов
ты тянешь сквозь житейя порошу.
О, если б так умел любой
нести и радости, и боли,
тогда бы вера и любовь
в защите не нуждались боле.

Моя осень

Вот и осень на возраст упала,
ностальгией в душе пролилась.
Частой гостьей стала усталость,
да и с риском душа развелась.
А тревожные годы упрямо
все куда-то толкают и жмут,
и уводят в неволю, как пьяных,
к приключениям, которых не ждут,
чтоб нечастые в жизни рассветы
на осенний сменить полумрак...
Тем сильнее уходящего лета
и наряднее видится фрак.
Не носить мне его, не померять —
я от моды такой поотстал.
Только хочется все-таки верить,
что от светлой любви не устал.
И пока не желаю сдаваться,

и, возможно, себе на беду
не хочу без любви оставаться...
И опять на свиданье иду.

Возвращение

Я пытаюсь в себе разобраться,
может, это всего-то мираж?
Иль желанье за прошлое драться,
где растерян душевный багаж?
Безнадежно за годы цепляюсь,
юность хочется мне удержать.
Я от многих обид исцеляюсь,
от чего же хочу убежать?
От ошибок, от глупостей в прошлом,
от случайных удач и тревог,
чтобы в давней любовной пороше
отыскать я тропиночку мог?
Не найти мне, наверно, ответа.
Не ответишь и ты на вопрос...
Молча мы возвращаемся в лето
светлых чувств и желаний, и грез.



ЛАРИСА МОКШЕВА

Вологодская поэтесса. Работала на ГПЗ-23 техником-экономистом, стихи начала писать довольно рано. Была участником заводского литобъединения, ее творчество обсуждалось на литсеминарах, ее лирика получила высокую оценку Н. Сидоровой, В. Астафьева, Ю. Леднева.

* * *

Ночь недолга. По-летнему светла.
И женщине хороший сон приснился.
Любимый человек соединился
В нем с городом, где их судьба свела.
Опять втроем: Он, Город и Она.
Такое лишь во сне, и то не часто.
Так вот оно, нечаянное счастье!
А вы мне все про то, что жизнь сложна...
У женщины морщинка меж бровей.
Счастливый сон не смог ее разгладить.
Но с волшебством теперь уже не сладить,
И на губах улыбка все новей...
Сейчас она ресницами взмахнет,
Из сновиденья в трудный быт вернется,
Сначала без причины рассмеется,
Потом затихнет, сон припомня тот.
И если вам не терпится сказать,
Что в нашей жизни все темно и сложно,
Вы помолчите, ежели возможно,
И посмотрите женщине в глаза.

* * *

Вы получали письма
из апреля,
Березовым написанные
соком



* * *

Березы золотая седина
Напомнила, что осень на пороге
И что у нас с тобою две дороги,
А я когда-то думала — одна.
А я когда-то строила мосты
Через реку неверья и разлуки.
И мы друг другу целовали руки,
И были «мы» — не просто «я» и «ты».
Казалось мне, что силы нет такой,
Чтобы меня с тобой разъединила...
Казалось... Но унылым словом «было»
Осенний лист кружит над головой.
Приснилось мне, что я тебя забыла...

Прошелестела осень
 под ногами.
 Прошелестело время
 по душе...
 Хожу по золотой
 тропе кругами.
 Сойти с нее — не поздно ли
 уже?
 Такое небо с нежностью
 прощальной
 Порою осень дарит
 нам с тобой,
 Что кажется не страшной —
 лишь печальной
 Тень одиночества над жизнью
 и судьбой.
 И хочешь верить в то,
 что счастье близко.
 (В душе любовь, но голова
 трезва...)
 И слышишь жизнь: сквозь джаз, и рок,
 и диско —
 Негромких песен мудрые слова...

* * *

Не верю в то,
 что наши души — врозь,
 Как мы с тобой —
 отныне и вовеки...
 Вспять не текут
 на этом свете реки.
 Но ведь душа
 на этом свете — гость.
 Не усмехайся,
 в мистике кляня.
 Когда-нибудь
 и ты увидишь тоже
 Как наши души горестно
 похожи...
 ...В отличие от тебя и от меня.

— Чем же все это кончится?

— Будет апрель...

Ю. Левитанский.

Забудьте проделки
 Фортуны,
 Обманы ее и подарки.
 Прислушайтесь,
 в заспанном парке
 Апрель уже трогает
 струны.
 А вам еще зябко
 и зыбко,
 И зимние думы печалят,
 От сердца никак не отчалят...
 ...Но — музыка,
 слышите,—
 скрипка!..

* * *

Плывет по теченью реки
 Усталая лодка моя.
 Друзей берега далеки,
 А в лодке — сынишка да я.
 Вполголоса песни пою,
 Птенца прижимаю к груди...
 Мне лодка — последний приют.
 У мальчика — все впереди.
 У мальчика — песни свои.
 Печали не ведал пока.
 Задорны его соловьи,
 И в солнечных бликах река.
 Птенца укрываю крылом —
 Так страшно потом отпускать!
 Но в мире — и нежном, и злом
 Научат и петь, и летать...
 А лодка — своим чередом.
 А на берегах — ни огня...
 Дитя освещает мой дом...
 Но что ожидает меня?..



ЛЕОНИД БРИЛЕНКОВ

Есть такое старое понятие: рабочий поэт... Поэт, который пишет для своего круга, для товарищей, выражает их чувства и настроения.

Таков мастер цеха переработки стружки 23 ГПЗ Леонид Бриленков. Он родился в 1932 году. Работает на заводе с 1985 года. Есть у рабочего поэта и еще одно ценное качество — юмор. Многие его стихи пронизаны тонкой улыбкой.

* * *

Я бегал еще босиком
Счастливым вполне человеком,
Когда шел в стране перелом,
Придуманный грозным Генсеком.
Достиг он и нас, северян,
Живущих в глуши Приполярья,
Где каждый четвертый — Иван,
И каждая пятая — Марья.
Мы землю пахали свою.
И, веря в рабочее братство,
Входило село в колею,
И начал мужик оперяться.
Но вот кто-то новость привез,
Как ордер на вечное счастье:
Мол, всем записаться в колхоз
И сдать все, что требуют власти.
Вот тут и пошла кутерьма,
Посыпались слезы и сроки;
Одних приютила тюрьма,
Других — всенародные стройки.
Разбрелся народ по земле,
Распались концы и начала,
И Русь очутилась во мгле,

Какой от рожденья не знала.
И все же не кто-то другой,
А мы в безымянной пехоте
Ходили за Сталина в бой,
Чтоб вновь оказаться в цейтноте,
А нынче пустили на слом,
За что воевали полвека,
И новый гудит перелом
По воле другого Генсека.
Не знаю, где правда, где вздор —
Все спуталось в нашем столетии...
И мечемся мы до сих пор,
Как рыба, попавшая в сети.

Развенчаны вчерашние кумиры

Развенчаны вчерашние кумиры,
От гласности в уме переворот,
И жизнь опять напоминает миру,
Что не всегда безмолвствует народ.
Написано немало о народе,
И в дифирамбах недостатка нет.
Но многолик народ и не подходит
Ни под один известный трафарет.
На лозунги особо не взирая,
И в дни войны, и в мирные года,
Он никогда единым не бывает,
Единогласным тоже никогда.
Единогласье — грустная примета
Тех лет, убитых страхом и вином.
Оно возможно лишь под пистолетом,
Да и тогда, конечно, не во всем.
А жизнь идет, как прежде, по спирали,
И в ту же с нами тешится игру:
Одним — за блуд — и званья, и медали,
Другим — за труд — от бублика дыру.
Порой она прекрасна как невеста,
Порой, наоборот, хоть удавись...
И в ней всегда и подвигу есть место,
И подлости. На то она и жизнь.
Идет борьба, где нету середины,
Но вечно существуют рубежи,
Где гибнут Соколы. А на вершины
Все так же пробираются Ужи.
А их немало, прихвостней бывшего,

И явных, и укрывшихся хитро.
Они и нынче Берию с Ежовым
Не прочь бы вновь избрать в Политбюро.
Заложники одной глобальной схемы,
Туманной, как заоблачная высь,
Мы сами создаем себе проблемы,
А после разрешаем их всю жизнь.
Преграды — это вовсе не награды,
И слишком мало радости, когда
На смену старым свеженькие гады
Опять ползут, не ведая стыда.
Они меня преследуют, как тени
Недавних бед, что в памяти ношу.
И слышу я их злобное шипенье:
«Вот позвоню ужю! И доложу!»

Весенний сон

За окном — капли звон,
Радужные краски.
И под этот перезвон
Мне приснился странный сон,
Что-то вроде сказки.
Будто только лишь вчера
По последней моде
Выбран я в директора
На родном заводе.
И, чтоб сразу все понять
И узнать поближе,
Обхожу в начале дня
Свой завод и вижу:
Мебель важная стоит
В чинных кабинетах.
На виду висят мои
Свежие портреты.
Ярко блещут зеркала
В раздевалке новой,
Сыр и масло на столах
В заводской столовой.
А у ловких кладовщиц,
Озорных и милых —
Пять моделей рукавиц,
Семь названий мыла.
Полушубки, порошки
Против паразитов,

Шайбы, шарики, шнуры —
И все-то без лимита.
Да, полезно по душам
Встретиться с народом
И хоть часик подышать
Общим кислородом.
Вот, свободно развалясь,
Жму я на моторе
И смотрю: исчезла грязь,
А ведь было — море.
Поднажал на тормоза
Возле магазина —
Там свободно колбаса,
Фрукты, лососина.
Продавщицы все добры
И в анфас, и в профиль,
Предложили мне икры
И, конечно, кофе.
Не спеша смотрю окрест
И, довольный, слышу,
Что какой-то загрантрест
Починил нам крышу.
Что завком и СТК
Выбили медали,
Чтобы люди у станка
Не забастовали.
Пьяниц вывели в расход,
Распростились с валом.
И не план, а хозрасчет
Нынче правит балом.
А завод наш — вот успех! —
Слабенький на старте,
Вдруг побил рекорды всех
Мировых стандартов.
Что японцы вроде бы
Едут к нам учиться,
А меня за подвиги
Уж зовут в столицу...
Тут, откуда ни возьмись,
И с утра под мухой,
В белых тапочках министр...
И кричит мне в ухо:
«Много спать — себе во вред.
Эй, проснись, Емеля!
Погляди: ведь на дворе —

Первое апреля!»
Тут я вздрогнул и прозрел:
Что за наваждение?!
Благо — на календаре
Было воскресенье.

Мой завод

Родной мой завод, ты, как город огромный.
Привычна тебе трудовая страда.
Ты словно оркестр многозвучный и стройный,
И песня твоя, как и ты, молода.

Родной мой завод, моей жизни основа,
Ты — школа моя и родная семья.
И верных друзей моих твердое слово,
И честь, и рабочая совесть моя.

На многих машинах стоит твой подшипник,
На многих ракетах идет в небеса.
И шутим порой мы с хорошей улыбкой,
Что жизнь невозможна без колеса.

Нелегкое дело быть в дружбе с эпохой,
Суров и стремителен времени бег.
И так же мне плохо, когда тебе плохо,
И втрое дороже твой каждый успех.

Так пусть не смолкает станков твоих пенье,
И к славным делам и к победам зовет.
Родной мой завод, ты — мое вдохновенье.
Завод — это сердце мое.

* * *

Дни, как спички сырые, дымятся,
Нет в них света и нет в них тепла,—
Я устал понапрасну метаться
И ненужные делать дела.

И знакомым при встречах, для виду,
Говорить, что легко одному,
И неправую слушать обиду,
Что не нужен я стал никому.

Неужели, как день непогожий,
Жизнь моя отшумела давно?
Охладевшую кровь не тревожит
Уж ни девичий стан, ни вино.

День ли новый ударит лучами,
Друг ли старый зайдет невзначай,—
Ничего уж теперь не встречаю
Так, как прежде когда-то встречал.

Разучился смеяться и плакать,
Верить клятвам и громким речам,
И, как в юности, в каждую драку
Уж не ввязываюсь по мелочам.

И ночами в притихшей квартире
Все мне слышится сквозь полумрак,
Что такому, как я, в этом мире
Не поможет ни друг и ни враг.

И никто уж теперь не научит
Делать нужные в жизни дела,—
Мой волшебный единственный ключик,
Видно, рыба в реку унесла...

Подвожу потихоньку итоги
И с мечтой расстаюсь, как с бедой,—
Отзвеневшего счастья дороги
Уж давно поросли лебедой.

Как же быть мне теперь? Не пойму я.
Бунтовать ли как в прежние дни,
Подвести ли черту роковую
Или медленно таять в тени?

Дни, как спички сырые, дымятся,
Нет в них света и нет в них тепла,—
Я устал понапрасну метаться
И ненужные делать дела.

* * *

Был день, как день. Ничто сугубый
Не вызывало интерес.
И вдруг — о, боже! — эти губы
И этих глаз янтарный блеск.

То был не сон, не наважденье,
С души упала пелена.
Явились Вы, как пробужденье
От летаргического сна.

И мир привычный, безобманный,
Известный вдоль и поперек,

Вдруг покачнулся будто пьяный
И стал теряться из-под ног.

О, мог ли знать я, что другому
Навеки отданы судьбой
И этих глаз янтарный омут,
И губ ревнивый непокой,

Что моя нежная наивность
Вам будет попросту смешна,
И что вообще на невзаимность
Моя любовь обречена?

Ну что же. Сетовать не стану
И вас ни в чем не упрекну.
Ведь как-нибудь и эту рану
Переживу, еще одну.

Ведь говорят, что время лечит,
Что все проходит — боль и грусть...
О как боюсь я новой встречи!
О как я Ваших глаз боюсь!

* * *

Ты, как яблонька в пору цветения.
Я смущен и к тебе подойти не решусь.
Что-то вновь происходит с моим настроением:
То ревную, то вновь над собою смеюсь.

Обижаю порою тебя незаслуженно,
Хоть и сам не пойму — отчего и зачем.
То ли сердце слезами мое перегружено,
То ли нынче оно опустело совсем?

Видно, стал я стареть. Приближение осени
С каждым днем, с каждым годом слышнее в крови.
Ах, зачем же глазами своими раскосыми
Ты напомнила мне о любви?

Нет ко мне у тебя ни вражды и ни жалости,
Ни больших и ни маленьких чувств...
Отчего же тогда, объясни мне, пожалуйста,
Я в ночи твое имя шепчу?

* * *

Вот и моя не за горами старость...
Смотрю вокруг, и сердцу тяжело:

Друзья мои, как мало нас осталось,
Как много вас до времени ушло

В тот скорбный мир, откуда нет возврата,
Уйду и я, когда пробьет мой час,
В одном, быть может, только виноватый,
Что буду я чуть-чуть постарше вас.

Но в этом нет заслуг моих ни грана,
Решают все законы бытия,—
Порой мы пьем из одного стакана,
Но жизнь всегда у каждого своя.

Своя от самой малости до сути,
От красной и до траурной строки.
Свои у нас свидетели и судьи,
Друзья сердечные и личные враги.

Порой они нас судят без причины,
Но и в земной, и в ядерной пыли
Вы были настоящие мужчины,—
И потому себя не берегли.

Хотя и смерть, конечно, не спасенье
От бед, что нам оставили отцы,—
И на дорогах новых поколений
Всегда найдутся Зимние дворцы.

И вновь бушуют страсти роковые
На дружеских недавно рубежах,
И даже терпеливая Россия
Сама стоит на грани мятежа.

И разве можно в этой круговерти
Быть до конца и трезвым, и простым,—
И если наши души не бессмертны,
То пусть, хотя б, останутся чисты.

* * *

О сколько слабостей во мне!
И я их все прекрасно знаю,
Но, вместе с тем, не забываю,
Что для других они видней.

Ну, а другие судят круто,
У них пощады не проси.
Ведь в наше время встретить друга
Совсем непросто на Руси.

Но я и сам не лыком шитый,
Не прячусь попусту в кусты.
Живу бесстрашно и открыто,
Без зависти и суеты.

Курю табак и пью вино,
Люблю словцо, что крепче перца.
Вдобавок богом мне дано
На редкость влюбчивое сердце.

Ах, эти ножки, эти губки!
Но, чур! Об этом помолчу.
Теперь уж я за каждой юбкой,
Как Дон Жуан, не волочусь.

Теперь других держусь я правил,
И прежних песен не пою.
И клятв налево и направо
По пустякам не раздаю.

Сражаюсь с подлостью других,
Но, чтобы действенное биться,
Себя бросаю на штыки,
Всегда готовые вонзиться.

И потому, что не молчу,
Когда молчат другие здраво,—
Я только лучшего хочу,
Хочу я честности и правды.

Но люди... Видно, так на свете
Природа наша создана,—
В чужом — соломину заметят,
В своем — не видят и бревна.

И что для нас чужое лихо,
Чужая жизнь на волоске?!

.
Беда моя — не бабья прихоть,
Не гвоздик в вашем сапоге.

* * *

В гости я к тебе нагряну,
Дорогой мой человек,
Без письма, без телеграммы,
Словно на голову снег.

Сам себя тебе представляю —
Мол, свободен и не стар,

Обниму тебя за талию,
Зацелую — бросит в жар.

Распакую чемоданы,
Все подарки разложу,
Разолью вино в стаканы,
На колени посажу,

Приласкаю словом нежным,
Чтобы доброю была,
Постараюсь быть прилежным,
Чтоб назад не прогнала.

И смущенно ты заметишь:
«Сразу видно — холостяк»,
Я скажу: «Потом не сетуй,
Если будет что не так».

* * *

Мне не забыть, как ты несмело
Вошла тогда в наш светлый класс
И у окна за парту села,
Вот точно так же, как сейчас.

Да, точно так, вполоборота,
Чуть набок голову склоня.
Я живо помню все. Дремота
В тот миг покинула меня.

И замер я, что мог сказать я?
Ведь правда сердца не в речах.
Плескалось праздничное платье,
Коса качалась у плеча.

Мерцало море сквозь ресницы
В крутых излучинах бровей,—
Такой и будешь, озорница,
Ты вечно в памяти моей.

* * *

Дождь за окном — будто шепот любимой,
Ветер над крышей — как плач о былом,—
Все в этой жизни неповторимо,
Все, что прошло и что будет потом.

Нам остается лишь память в наследство,
Вот и сейчас, посреди тишины,

Вижу я вновь деревенское детство,
Долгие, грозные годы войны.

Видно сегодня усну я не скоро,
Прежняя память проснулась в крови,—
Снова со мною северный город,
Город моей невеселой любви.

Плачет фонарь под окном среди мрака,
Криво нахмутив железную бровь,
Где-то поблизости воет собака,
Словно оплакивает нашу любовь.

Тени деревьев по комнате бродят,
То вдруг под ветром срываются в пляс,
Будто бы ищут и не находят
Той, что бывала здесь прежде не раз.

Не увядает любви моей поле,
Но, так уж, видно, угодно судьбе,
Снова как будто к полюсу боли
Памятью я возвращаюсь к тебе.

Но ведь и память стареет незримо,
Как и любой на земле человек...
Все в этой жизни неповторимо,
Необратимо, как времени бег.

* * *

Перестройка идет, перестройка,
Взбух и тронулся косности лед.
И опять, как крылатая тройка,
Устремилась Россия вперед.

Перестройка идет не на шутку,
Выметаем и грязь, и старье:
Бюрократа, рвача, проститутку,
Хама, лодыря и ворье.

Ускоренье идет, ускорение,
С пробуксовкой, как будто с нуля.
Резко падает вин потребление,
Ум и трезвость встают у руля.

Говорить привыкаем без фальши
И от правды не прячем лица,
Но, чтоб «плыть в революцию дальше»,
Правду знать мы должны до конца.

А давно ли?.. И мы должны помнить,
Чтобы вновь не могло прорасти,
Когда доблесть томила в загоне,
А бесчестье ходило в чести.

И я знаю, что эти вот строки
Никогда не пришли бы ко мне,
Если б до сих пор боцманский окрик
Не звучал на рабочей волне.

Пионеры! Орлиное племя!
Как же мы до сих пор не пойдем,
Что нелепо валить все на время
И витийствовать задним числом?

Не сломить нас ни силой, ни лестью,
И любой нам подъем по плечу,
Но, чтоб впредь не топтаться на месте,
Вновь назад оглянуться хочу.

Вновь и вновь проверяю по Ленину,
С кем идти и с кого брать пример...
Перестройка по всем направлениям,
Перестройка идет в СССР.

И пускай кое-кто огрызается
И бранит нас на всех голосах,—
Революция продолжается,
Ветер битвы гудит в парусах.

* * *

Что-то в обществе, как видно, не в порядке,
Люди деньги миллионами крадут,
А что было лишь вчера у нас в достатке,
Нынче только по талонам продают.

С недоливом понемногу, с недовесом,
Но велик в стране товарооборот,
А в крупе, как всем давно известно,
Даже мышь голодной смертью не умрет.

И попробуй докажи, где нынче кража,
А где льготы — привилегии тузов,
Если все вокруг общественное — наше,
Кроме собственных заштопанных штанов.

На стоянке ждет назначенного рейса
Инвалид-старик, склонившись на костыль,
А пацан-сопляк в мундире милицейском —
Остановит хоть какой автомобиль.

И покуда спорят наши депутаты,
Как уйти от неоправданных затрат,
Втихомолку увеличивает оклады
Сам себе руководящий аппарат.

Что поделаешь? Кто едет — тот и правит.
И повсюду бескультурье и корысть,—
Днем вас могут без заштопанных оставить
И в любой час могут горло перегрызть.

Не с того ли все сегодня сбились с круга?
И откуда накопилось столько зла?
Вон уж «братья» бьют в открытую друг друга,
Правда, русских бьют пока из-за угла.

И сдается мне: идем мы по карнизу,
Обмануть пытаюсь страх и крутизну.
И, по-моему, как сверху, так и снизу
Репетируем гражданскую войну.

* * *

Лишь увижу тебя — и снова я
Полон памятью давних лет.
Снова отроком нецелованным
Выхожу в голубой рассвет.
Снова грезится сад заброшенный,
За околицей — соловьи,
Где когда-то тебе, непростеный,
Говорил я слова любви.
За селом, над седыми вербами —
Слышу вновь — журавли трубят,
И, как прежде, тобой отвергнутый,
Вновь оплакиваю сам себя.
И, как в давние дни заветные,
Все надеюсь тебя забыть...
Ах, любовь моя безответная,
Роковой поворот судьбы.
Нет нигде от тебя спасения,
Ни в работе и ни в вине...
За какие же прегрешения
Этот жребий достался мне?
Дни летят, как шальные лошади,
Бег их бешеный не унять...
Я хотел бы вернуться в прошлое,
Но никто там не ждет меня.

В парикмахерской

(Ш у т к а)

В парикмахерской, деревенщина,
В мягком кресле сижу, застыв,
А вокруг меня ходит женщина
Удивительной красоты.
Очи карие, губки алые,
Брови — черные два крыла,
Ножки, талия и так далее...
А вокруг горят зеркала.
Ходит легкая, не ленивая,
Удивленный скрывая взгляд,
Расправляется с моей гривой,
Как отлаженный автомат.
Мастерица, видать, искусная,
И сноровка есть, и чутье.
И летят с меня мои русые,
И ложатся к ногам ее.
Но ни капельки нету дела ей
До подобного барахла.
И прячут ее руки белые
Надо мною, как два крыла.
Бьется в сердце желанной музыкой
Звук машинок и женский смех,
И похож я сейчас на узника,
За какой, неизвестно, грех.
Положение, признаться, скверное,
А ведь важен лишь первый шаг.
И идут ко мне мысли смелые,
Будто рыбины в камышах.
Но, как сонный звонарь на звоннице,
Кто-то дернул в колокола:
«А не рано ли рассупонился,
Распустил свои удила?
Все красивые — в жизни бестии,
Мы поем про них иль молчим.
Увиваемся за невестами,
К женам ластимся лишь чужим».
Нагнетает мне в душу панику
И зудит, как прыщ, без стыда:
«Не расходуйся зря на пряники,
Ведь сгоришь, как пыж, без следа».
А она надо мною властвует:

Правит бритву о ремешок,
Проверяет ладошкой ласковой
Чистоту побелевших щек.
Возле губ моих ее пальчики
Ходят важные, как тузы.
Держит за нос совсем как мальчика,
Бреет бороду и усы.
Убирает все прочь, что лишнее...
Мне сейчас ничего не жаль.
И бросает меня, поникшего,
То вдруг в холод, а то вдруг в жар.
Что-то спрашивает, нежно окая,
Я не слышу, что бормочу,—
Я почти в состоянии шоковом
От нахлынувших нежных чувств.
Все плывет предо мной и кружится,
И гадаю я как во сне:
«Как живется ей? Как ей любится?
Может, замужем? Может, нет?»
А она ко мне вновь с вопросами:
«Мол, не надо ли освежить?»

.
Ухожу я домой причесанный
И не знаю, как дальше жить.



Родилась в городе Соколе. Училась в Вологодском пединституте, была членом заводского литобъединения. Уехала в Москву с рекомендацией нашего литературного объединения для поступления в Литинститут имени А. М. Горького. Лауреат областного конкурса имени Николая Рубцова. В настоящее время живет в Москве. Выступила с поэтическими циклами в альманахе «Поэзия», в журналах «Север» (1986 год) и «Наш современник» (1990 год). В Северо-Западном книжном издательстве готовится к выходу первая книга ее стихов.

Одна любовь

Задыхаюсь от воли, от воли!
 Душно даже на сквозняке,
 Задыхаюсь от адской боли —
 Чувства легкости в правой руке.
 Сотни принцев — тростинок певучих
 (Нынче принцев — хоть пруд пруди!)
 Упражняются в сладкозвучьях,
 Усмиряют тоску в груди,
 Яснооки и белоруки,
 Сыплют нежности жемчуга...
 О, нашествие принцев! О, мука,
 Ждать — смешно сказать — мужика,
 Домостроевского, земного,
 Чтобы снял с меня воли хомут!..
 — Я к другому! — а вслед ни слова,
 Даже за руку не возьмут.
 Сто послушностей, что любовей,
 Сотни замков на облаках...
 О, тиранство тщедушной крови:
 Ни перста, ни хлыста, ни замка!..
 Лишь, как благо, сойдут пред рассветом,
 Прямо на сердце, в лучшем из снов:
 Сто амбарных замков,
 Сто клеток.
 Сто запретов.
 Одна любовь.

Мучительная сила нежно-грубых
 Любимых линий... Полночь, не сотри!
 Высокий лоб и крупной лепки губы.
 И взгляд, сурово замкнутый внутри,
 И сотни черт, почти неразличимых.
 Да что мне ночь с ее слепой луной,
 Когда лицо желанного мужчины
 Так высоко восходит надо мной!
 Но ты — не Ты! — какая в сердце стужа!
 Как проступили вдруг во тьме ночной
 Неясные черты другого мужа,
 Целованного первою женой...
 Ну и пускай! — Ведь ты не знаешь силы
 Второй жены, второй любви — гляди! —
 Сама судьба моей рукой водила
 И, разрешенья не спросив, чертила
 Знак бесконечности — да по твоей груди.

Мужчина в доме — как прекрасно!
 Окурки, стружки, звон гвоздей,
 И хлеб нарезан крупно, властно,
 Без эстетических затей.
 А женщина легко, как рыбка,
 Скользит среди домашних дел
 С такой блаженною улыбкой,
 Как будто ангел пролетел.
 «Пусть видят, видят все соседки —
 И у меня!.. И у меня!..»
 ...А утром донесет «разведка»:
 — Проездом... Дальняя родня.

ВЛАДИСЛАВ КОКОРИН



Родился в 1955 году в деревне Шера Сокольского района Вологодской области. В 1974 году закончил ГПТУ-28. Работал в ШСЦ-1 и ШСЦ-4 наладчиком шлифовальных автоматов, наладчиком прессов и контрольно-измерительных автоматов. За последние шесть лет работы в котельной завода закончил заочно Литературный институт. Регулярно печатался в газете «Вологодский подшивник», а также в коллективных сборниках «Молодая гвардия», «Шел отец» (издательство «Современник»), «Молодые голоса Севера» (Северо-Западное книжное издательство). С мая 1989 года работает в областной газете «Вологодский комсомолец».

Три заклѣтья

Социализм — это, прежде всего,
учет и контроль.

Известное изречение.

Ты не шлѣйся один — говорю тебе первый зарок.
И тебя не ударят в глухом переулке кастетом.
Не поднимут за волосы тяжкую голову к свету,
Не ударят вторично, теперь уже точно в висок.

Ты не шлѣйся один, ибо дума твоя тяжела.
Ты друзей пожалеешь, ты с ними не будешь делиться,
Ты расскажешь об этом случайным и взбалмошным
лицам,

А они не прощают, пускай и невольного, зла.

Не влюбись без ума — то второе заклѣтье мое.
Что мне муки твои? — Ты оставь при себе свои муки!
Потому что не вынесет даже недолгой разлуки
Та, что все-таки сможет поверить в безумье твое.

А о третьем заклѣтье скажу лишь тебе — и молчок!
Да, я знаю, как только его насклеи на скрижалях,
Обвалились опоры, что эти скрижали держали...
За любым из осколков — бывая твердыня!

Да, гремят эти камни по отчей земле и поныне.
Но!.. на каждом начертано кровью: «Контроль и
учет!»

Царапнула девица в автобусе ногтями,
Торопилась выскочить на остановке своей.
Взмахнула нечаянно рукою с перстнями,
Чиркнула, как бритвой, по шее моей.

Я погладил, морщась, саднящие ссадинки,
Посмотрел размашистой девице вослед:
Плащ змеиной кожи, брюки, как на всаднике,
Только что «смит-вессона» на поясе нет.

А ногти длиннющие, ну прямо когти,
Цветом крашены кровавым к тому ж —
Коль она не замужем, так вы в них попадете,
Если же замужем, так бедный муж.

И вот летит, родимая, колет и режет,
Такая танкеточка в фирменной броне.
Ох, братцы, встречались бы такие-то пореже,
Уж больно что-то часто встречаются оне!

* * *

— А я в Германии издамсь,—
Сказал один приятель мой.—
Пойду,— сказал,— буржуям сдамсь.
Я двадцать лет терпел «застой»!

А рукописей у меня мешок!
Не на одну, пожалуй, книгу.
Небось в «Сов. писе.» будет шок,
Как покажу из Бонна фигу.

Да что, печатают «муру».
А у меня стихи «железные».
Пишу, пишу — все бесполезно.
Наверно, ждут, когда помру!

Сперва поэта уморят,
Потом народу говорят:

— Вот,— уберечь мы не сумели...
Он был талантливый поэт,
А жил без денег на обед.
А мы... его мы просмотрели.

Да, полно,— вы его и съели!

Труженику

В трудах ежедневных чудный взлелеешь плод.
Поставь обязательно вокруг сада забор.
 Через эту границу шагнувший,
 Будет тебе «антипод»,
 Проще говоря — вор.

* * *

Зарастаю неприглядной бородою,
По квартире по неприбранной хожу.
У окна стою, с лохматой головою,
Аки тать во тьму полнощную гляжу.
Не видать во тьме ни зги, ни огонечка,
Только ветер стелет снежную постель.
Ох, лихая на дворе сегодня ночка.
Ох, коварна нынче матушка метель.
Не меня ль она когда-нибудь поманит?
Да закружит где-нибудь среди могил?
Не за то, что я был грешен перед вами,
А за то, что я грехов не искупил.
А покуда я шатаюсь по квартире,
Половицы хриплым хором мне поют:
Не отыщешь ты покоя в этом мире,
А найдешь ты только временный приют.
Пойте, пойте, деревянные, косые —
Он не зря, мой дом, пустынен и убог:
Знаю, вспомнит мать родимая о сыне,
Да не выйдет встретить сына на порог.
Не меня ли ветром по свету носило?
Не упомнить, где я не был или был.
Вспоманет да зарыдает мать о сыне...
Только сын дорогу к дому позабыл.

* * *

Люби меня, покуда я не твой,
И над тобой царит очарованье.
Когда меня впервые за собой
Поманишь ты. Так сладостно мечтанье.
О не своем, не веданном почти...
Таясь в ночи, безмолвной и безлунной,

Я прокрадусь, взволнованный и юный,
В ваш чудный сад. И будет сад цвести!

И птицы будут плакать за рекою,
И звезды будут падать за плечо...
И, боже мой, как сердце горячо,
Когда оно трепещет под рукою.

Но минет ночь. Ты скажешь: я твоя.
Навек, навек! — А хватит ли навеки?
(Они не зря сокрыты в человеке,
За сонмищем страстей,— загадки бытия!)

И если я упьюсь очарованием,
И поклянусь на вечную любовь,
Кто скажет мне, оно родится ль вновь,
Умершее сейчас,— взаимное незнание?

Юношеское

О грядущем не гадая,
Шутим все, что жизни две...
Только вот она,— седая
Волосинка в голове.
На гулянку собираючись,
Вырву эту волосиночку.

Из неоконченного.

В двадцать два сесть не рано ли?
Если волосы до плеч,
Если юность окаянная
И не думает беречь

Что-то там для дальней старости,
Для спокойного житья,
С чувством праведной усталости
И печатью забытья.

С упованием на грядущее...
Только как там ни гляди —
Путь-дорога для идущего
Все короче впереди...

Так гуляй, красавец писанный,
Не стриги свои кудриночки —
Доживешь и ты до лысины,
Дергай, знай, по волосиночке!

Они щедры на пепелища,
 России мрачные лета.
 Когда не кровь течет — кровища,
 И нет на вороге креста...
 Из ранее написанного.

Нелегка ты, родная стезя,
 Коли пепел летел на шеломы.
 Коли кинули грады князья,
 И холопы оставили дома.

Куликово ли поле в пыли?
 То ли глазыньки застит от горечи?
 Коли во поле том полегли
 Все Добрыни, Ильи и Поповичи.

Коли вновь нам погибель пророча,
 Черный воздух крылами пластая,
 Поднимается стая за стаей
 Воронье по славянские очи.

И все явственней, явственней помнится,
 Время давнее ближе и ближе,
 Вот я вижу мамаеву конницу,
 И сермяжное воинство вижу.

Мы идем в поредевших рядах,
 Все теснее смыкаясь плечами,
 С заклинанием на устах:
 Нас не высесть кривыми мечами!

В поминальные дни привожу в целлофане рассаду
 И сажаю цветы, и таскаю от речки песок.
 Рассыпаю его, и светлеет квадратик ограды,
 Веселей с обелиска родимый глядит образок.

Он вбирает в себя золотую небесную силу,
 Чтобы было теплее живым у холодных могил.
 Чтоб родная душа только в день похорон голосила,
 А потом от тепла набиралась невидимых сил.

Мы приходим порою сюда и смурны, и помяты,
 И родные могилы находим порою не вдруг.
 Заплутавши в аллеях, читаем фамилии, даты...
 С недоверием смотрим в реестрики чьих-то заслуг.

Но находим родных и зачем-то опять беспокоим,
Все пытаюсь решить окаянный какой-то вопрос.
Словно тайна сокрыта под этой могильной плитой,
И ушедший от нас эту тайну с собою унес.

В поминальные дни, приближаясь немного к разгадкам,
Мы на жертвенный столик пшеничное сыплем зерно.
Но слеза, что летит вместе с ним на могильную грядку,
Изымет из нас то, что нам осознать не дано.

* * *

Бесчинство природы, прекрасно твое проявление.
Свистящие ветры грохочут над домом моим.
Играючи гнут осененные снегом деревья,
И чудится мне — это мчится Отечества дым,

Над силой бесчинства, над всем, что грохочет и плачет,
И рвется вперед, разметая сугробную пыль.
О, сила природы, даруй мне судьбу наудачу,
Мы славную сложим — о жизни — и грозную быль.

Гуляй, непогода! Сверкай ошалело очами.
Я сам за грехи соглашусь умереть молодым,
Покуда над миром в его неизбывной печали
Летит и летит вдохновенный Отечества дым.

ОЛЬГА СМИРНОВА



Родилась в Харовске в 1964 году, начала писать в 1985. Работает инженером-конструктором в институте «Гражданпроект». Участница литературных объединений «Творчество» и «Ступени». Ее стихи обсуждались на областном семинаре 1990 года. В том же году она побывала на XV Всесоюзном фестивале молодой поэзии в Пицунде.

* * *

Губы обветренные улыбались —
а ж кровь выступала.
Тебе показалось, что мы расставались —
нас просто не стало.

* * *

Такие нам встречи даются —
Теперь удалось мне понять, —
Чтоб только взглянуть, задохнуться
И целую жизнь вспоминать.

* * *

Как хорошо, что ты принес цветы!
Почувствовал, что тот букет увял?
Я так сберечь его старалась.
Но столько лет прошло...

* * *

Никуда тебя не отпущу —
Говорила, размыкая руки.

Никогда измены не прощу —
Целовала в кровь после разлуки.

Уходила от тебя сама,
Чтобы было счастье — возвращаться.
У Земли такая же судьба —
Вечно ей под солнышком вращаться.

* * *

Ты бы много говорил —
я бы верила.
Возвращался, уходил —
дней не метила.
Не просила ничего
нище-ранено,
Никогда не поняла,
что обкрадена.

* * *

Уходит любовь, теряется,
В памяти боль растворяется.
Земля под ногами вращается —
Никчемная, обретается...

* * *

Всю ночь прошепчу оправданье,
Что я ошибалась — любя...
А люди смеялись и пальцем
Насквозь протыкали меня.

* * *

След от книжек сотру с ладоней —
Мне понятна участь людей:
Умереть на трудной дороге
Или только читать о ней.

* * *

Когда привычно рифмы мозг слагает,
А сердце ровно бьется о своем,
Я знаю, что сожжение угрожает
Таким стихам за варварство мое.

* * *

Поэту.

Не человек,
а открытая рана — ты!
Ветер солен
и колюч...
— Бинты!
Дайте бинтов,
чтоб хватило укрыть
всего!
Я бинтовала,
на смерть обрекая,
душу его...

* * *

Как хорошо, что никого не жду:
Побуду вечер
с доброй мудрой книгой,
И в ней прочту,
что лишь среди людей
Возможно быть поистине
счастливой.

* * *

Уезжая, смеялась.— Милый!
Расставанье — не горе из бед! —
До сих пор я печалюсь горько
Уплывающей станции вслед.

* * *

Зачем я руки к тебя протянула,
Решив вернуть все то, что взяла?
Осень молвою по сердцу стегнула:
Видно, за нищенку приняла.

* * *

Что делать с письмами, скажи?
Твои слова желтеют.
В них правду отделить от лжи
И годы не сумеют.

А этот долговечный яд
За каждую строкою,
Прочту, а письма говорят
Со мною как с живую.

* * *

Как предпочесть мне плачу громкий смех?
Одним живу, другим — лишь жизнь заполнить.
...Я выберу обычного из всех,
Чтобы ничем тебя не смог напомнить.

Ящерка

В этой траве
Лишь коса не заблудится.
Да маленькая ящерка.

Самые зрелые земляничники
Ящерка понадукусывала.
Можно я доем?

Давай я тебя к землянике перенесу,
маленькая ящерка!
Убежала, оставив хвостик у меня на ладони —
знак недоверия.

* * *

Эй, кукушка! Можешь не продолжать — я тебя поняла:
«Ку» — это первый слог
слова «вечность»
на твоём языке.

* * *

«...Коня на скаку остановит...»

Птица-тройка, куда ты несешься?
Ездовой то ли пьян, то ли спит.
Пропадешь как сгоришь, разобьешься —
Посмотри, вон уж ворон кружит.
Лезет клочьями красная пена,
По пылище влачится узда.
Вижу — даже самой надоела

Бесшабашная эта езда.
Вдруг догадка морозом по коже:
Мол, на женщину прежний расчет...
Может, та я, которая сможет?
Если нет, то кто там еще?

* * *

«Да» сказать и думать, что вправе
Быть твоей и тобою владеть.
«Да» — как будто хлебнуть отравы
И не знать: реветь — не реветь.
Ты поэт и нрава такого —
Разомкнешь, как подкову, кольцо
Ради только единого слова,
Слова, выпуклого как лицо.
«Да»... Сказать?

Светлячки

Вот они — звезды:
Под ногами, россыпью.
Но засунутые в коробок —
гаснут.

* * *

Несся вверх,
не замечая этажей.
Пришли потомки —
сосчитали ступеньки.



ОЛЬГА ГАРЯЕВА

Родилась в Вологде в 1972 году. Здесь же закончила школу и поступила в Молочный институт. Член заводского литобъединения «Ступени» с 1989 года. Участвовала в областном литературном семинаре 1990 года, а также в конференции ассоциаций пишущих женщин Северо-Запада. Стихи ее одобрил В. Коротяев.

* * *

Ты дарил мне живые цветы.
Но зимою принес в дар однажды
Отголосок далекой весны —
Свой цветок неуклюжий, бумажный.

У него неживые черты,
Но ему не чета и ромашки.
Воплощением нашей мечты
Стал цветок неуклюжий, бумажный.

Словно мастер, умелец какой,
Сделал то, что богам и не снилось,—
Лишь взмахнул незаметно рукой
И послал нам бумажную милость.

* * *

Постучи в окно, но только
Так, чтоб летний ветерок
Эти отстуки надолго
Сохранить в секрете мог.
Постучи неожиданно, тихо,
Как ступаешь на траву,
Чтоб соседка-повариха
Не посеяла молву.
Стукни, будто бы случайно,

Ненарочно или вдруг.
Вот я песней отвечаю —
Значит, слышу этот стук.

* * *

Рано утром я приеду
В шумный город. И опять
Сквозь туманы на рассвете
Ты придешь меня встречать.
Вновь глаза твои увижу,
Край, что с детства мне знаком.
Пес Потап меня облизнет
Торопливо языком.
Зацветет по всей округе
Белых яблонь первоцвет.
И вздохнут мои подруги,
Нам с тобою глядя вслед.

* * *

Я напишу тебе письмо,
Не ставя точек с запятыми.
Быть может, детское оно —
Как долго были мы чужими!
В письме неровный почерк мой
Наверно, нелегко прочтется.
И пусть слегка своей рукой
Тебя волнение коснется.
Я напишу тебе письмо.
Оно — как мостик между нами.
Ты не ответишь? Все равно.
Но сохрани его на память.

* * *

Дом был маленький, но крепкий,
Уважали этот дом.
Мужики снимали кепки,
Заглядев хозяев в нем.
Ладный, сложенный из бревен,
Он стоял, как старый дед,
Находясь в случайной дреме,
Может, первой за сто лет.

Дом был маленький, но крепкий.
Печь да стол — все просто в нем.
Иногда зайдут соседки —
Посмотреть, как мы живем.
Соберемся, сядем кругом,
Заведем о чем-то речь.
Кто-то скажет:
— Эй, подруги!
А блины не будем печь?
За столом с медовой кружкой
Станет шумно и тепло.
Дай бог счастья вам, подружки,
Чтоб рекой оно текло!

* * *

К чему прощальные слова
И свеч оплавившихся искры?
Ковер судьбы замысловат,
И все нехватишь взглядом быстрым.
А на столе моем — пирог
И шоколадные конфеты.
Ты переступишь мой порог —
Уже хорошая примета.
И за спиной цветы не прячь,
Дарить подарки лучше сразу.
Подарок ссоре — лучший врач.
Давай цветы поставим в вазу.

* * *

Закатное вспыхнуло небо,
И вечер, прощаясь, погас.
И счастье, как сказочный лебедь,
Опять пронеслось мимо нас.
Ушла суетливость дневная,
Ушла, заперлась на замок.
Не ты виноват, что одна я,
А я — в том, что ты одинок.



ЕЛЕНА ВАСИНЦЕВА

Коренная вологжанка. Родилась в Вологде в 1961 году, где живет и сейчас. Работала парикмахером и художником, ко всякой работе подходила творчески. Стихи пишет с детства. Печаталась в многотиражной газете, получила одобрение Ольги Фокиной.

В дымке молочной
 туманного утра,
Видится мне
 деревенька моя.
Темные избы
 рисуются мутно,
Стары.
 Но век им еще простоять!
Солнце встает
 за березовой рощей,
Ночи прохладу
 уносит рассвет.
Потчуй меня своей свежестью,
 потчуй,
Росное утро,
 гречиховый цвет!
Здравствуй! —
 кричу тебе после разлуки.
Здравствуй,
 родная моя сторона!
Еду к тебе я
 не просто со скуки,
Вся я до дна
 лишь тобою полна.
Надо мне,
 надо тобой наглядеться,

Подавай пестерь.
Спеет ягода морошка,
Не ленись теперь.
В лес — пустой,
Из леса с целым
Прихожу ведром!
Терпкий дух
От ягод спелых
Заполняет дом.
Упаду в пахучий клевер
На исходе дня.
Милый Север!
Дивный Север!
Вологда моя!

* * *

Уеду в деревню,
Вселясь в позаброшенный дом,
Покрашу наличники
Краской небесной лазури,
И будет казаться,
Что это причудливый сон,
Что так не бывают
Прекрасны вечерние зори.
И утром, росой
Замочив городской сарафан,
С резным коромыслом
Пойду к роднику за водою.
А после поставлю
На стол расписной самовар
И чашки старинные,
Мамины, с желтой каймою...
Пойдет чайный дух
По моей деревенской избе.
И снова сверчок
Запоеет удивленно за печкой,
Появятся ласточки
Вновь в позабытом гнезде,
Под темною крышей
Ожившего дома над речкой.

Что ты ждешь его, глупая?
 Не придет он, пойми!
 И печаль ты со скукою
 От себя прогони.
 Позабудь его, милая,
 Он не стоит тебя.
 Не тоскуй же! Ты сильная,
 Ты поборешь себя,
 Не ломай свои рученьки
 И слез горьких не лей.
 Не ходи темной тучею
 И о нем не жалей.
 Сколько можно кручиниться?
 Сколько можно страдать?
 Не придет, не повинится,
 И не надо гадать!
 Так не жди его, славная,
 Не придет все равно!
 А кольцо обручальное
 Лучше брось за окно...

* * *

Веточкой клен с укоризной качает:
 — Кто уезжает? Зачем уезжает?
 Родину кто на чужбину меняет? —
 Тот лишь, кто цену родному не знает!

Бабье лето

Рисует осень кисточкой незримой
 Сеть золотую в зелени берез...
 И ветер тихий носит паутину
 И сердце снова трогает до слез.
 Ах, бабье лето! Сколько и побудешь?
 Хоть днем подольше на дворе постой!
 Назло природе ты все краски будишь!
 Вглядишься в лицо крестьяночки простой —
 Похорошела вдруг, помолодела!
 Идет по полю, подоткнув подол.
 Задорно песню русскую запела,
 И голос — как ручей полился с гор!
 И вся — как статуя, лишь только с пьедестала!
 А раньше вы заметить не могли? —
 Она и ростом чуть повыше стала!
 Ведь бабье лето! Черт его дери...



НАДЕЖДА КРАЙС

Надежда Крайс (Красильникова) живет и работает в Вологде, закончила педагогический институт.

Работает на 23 ГПЗ в 4 шлифовально-сборочном цехе. Занимается художественным переводом английской и немецкой поэзии.

Переводы с немецкого

БЕРТОЛЬД БРЕХТ

Тополь на Карлсплац

На Карлсплац, в берлинских развалинах,
Стоит старый тополь, встречая прохожих
шумящей листвою.

Историю этого дерева знают все люди?

Едва ли.

А случай был, братцы, такой.

Весной того страшного сорок шестого

И дров ни полена, и начал народ замерзать...

Срубили в ту пору деревьев и очень уж много,

А тополь на Карлсплац остался стоять.

Стоит и сегодня красавец зеленый,

Встречает прохожих шумящей листвою.

Спасибо, берлинцы, спасибо за все вам,

За то, что в то трудное время вы были со мной!

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

* * *

Люблю я цветок, да не знаю какой,

Бесспорно, все это волнует.

Гляжу на другие цветы я порой,

А сердце, как прежде, тоскует.
Цветы дивно пахнут при свете заката,
Негромко поет соловей.
Ищу я то сердце, любил я когда-то,
Ищу сердце милой моей.
Поет соловей, и я вновь понимаю
Всю прелесть мелодии песен его.
Хоть мы далеко друг от друга, я знаю,
Дороже любви нет для нас ничего.

АЛЬБЕРТ ФОН ШАМИССО

Весна

Весна уже пришла, и земля пробуждается,
Цветы расцветают, все полнится шумом.
И старая песня опять вспоминается,
И вновь себя чувствую свежим и юным.
И солнцем цветущий луг вновь освещается,
А ветер колышет листву и ковыль.
Каким же седым вдруг мой локон покажется!
Да это же скверная пыль...
И строятся гнезда, и вновь распеваются
Изящные птицы. Да так хорошо!
А, может быть, это не пыль рассыпается?
Как птице, легко моей душе!
Весна уж пришла, и земля пробуждается,
Цветы расцветают, все полнится шумом.
И старая песня опять вспоминается,
И вновь себя чувствую свежим и юным.

ИОХАНЕС РОБЕРТ БЕХЕР

Ты, наш...

Ты, наш век, и с тобою ничто не сравнится,
Ты — могучее время, ты - - время времен.
Песнь тебе посвящаем, что ввысь устремится.
Дай ей силу, с тобою она зазвучит в унисон.
Приветствуем тебя, наш самый лучший век!
Век коренных переворотов!..
Становится свободным и счастливым человек.
Поем мы славу достижениям народов.
За то, что воплощаешь ты мечту в реальность,
Наш век! Тебе мы выражаем благодарность!

Счастье

Что значит счастье? Может быть, мгновение,
Когда остановилось время, тишина?
А может, это в мысли погруженье,
А с ними вспоминается прошедшая весна?
Быть может, счастье в том, чтоб видеть
из окна.

Кусочек неба и бушующее море?
И руку жать твою, и знать, что ты одна,
С которой никогда я не узнаю горя?
Иль счастье в том, чтоб чувствовать:
вот это жизнь!

Кто может абсолютно точно мне ответить?
И если б знали все, в чем счастья смысл,
То никогда не думали б о смерти...
Мне кажется, что в этой жизни счастлив я,
И это потому, что в ногу я иду со временем.
Считаю, что поэту по-другому жить нельзя,
Своим оружием владею я уверенно!

Перевод с английского
ЧАРЛЬЗ МЕККЕЙ

Нет врагов?

Ты говоришь, что нету у тебя врагов?
Не лги, мой друг, ведь это все пустое.
Наш мир... не очень просто он устроен —
С врагами, к сожалению... он таков.
Они повсюду, даже храбреца
Преследуют всегда и в каждом деле.
И чтоб достичь своей великой цели,
Приходится нам с ними драться до конца.
Враги, они везде — в земле и на воде,
Скрываются на дне стакана в капле яда...
Они повсюду — в воздухе, в траве...
Быть может, продолжения не надо?
Итак, ты утверждаешь, будто нету
у тебя врагов?



ЮРИЙ КАРАНИН

Родился в 1951 году. Работает наладчиком КИПиА в цехе охлаждающих жидкостей 23 ГПЗ. Стихи и проза публиковались в периодической печати. Большая поэтическая подборка вышла в сборнике «Молодые голоса Севера» в 1988 году. Активный член литобъединения «Ступени», где известен и как вдумчивый критик.

В предвечерье

Жара угасла.
Ожила трава.
Светло в душе, а на сердце — печально.
Люблю любить, возвышенно, отчаянно,
чтоб от любви кружилась голова.
Цветет сирень.
Изящный аромат
подлунье в легкий сон оболочает
и, волнами струясь, к реке стекает,
и перебаты, захмелев, шумят...
Так в стольный праздник русская душа
рождает сил взбунтованность и легкость,
срывает в пляску, в песенную звонкость
и в веру в жизнь, что просто хороша.
Жизнь хороша и в буднях, и в гульбе.
Жизнь хороша на острых перекатах,
устойная, и скроенная наспех...
Жизнь хороша!
Я радуюсь судьбе...
Спасибо за сиреневую грусть,
за грубость рук, за жажду перемены,
за радость жить,
за то, что без измены
люблю тебя, мой Север,
наша Русь.

Дождь прошел...
И просветленной синью
до краев наполнен небосвод.
Воздух, щедро сдобренный полынью,
отдает горчинкой и теплыню.
Неуемно хочется в полет.
В золоченой легкой дымке тая,
в перекатах прячется река —
звонкой пряжи ниточка литая
вьется под навесом тальника.
Ни к чему терзать воображение:
всюду свой, единственный узор.
Ветерка игривое кружение
Будит в травах музыку и пенье,—
все поет, куда ни бросишь взор.
...О, Земля, ты приласкаешь сына
и поможешь смыть сомнений вздор?,—
вроде б жил,—

а вот душа повинна...
Чисто в мире: смыта паутина
и затушен брошенный костер...

Дума

1

Заполнен утомленной тишиной,
исполнен тайной колдовской богатой
примолкший лес в угрюмости рогатой,
с тревогою склоненный надо мной.
Не погублю ни леса, ни реки
я ни со зла, ни с горя, ни со скуки:
зверье, гуляй; и взбрыкивайтесь, шуки;
пой, соловей; светите, светляки...

2

Уходит день.

Светило пьет туман...
Пьют кони воду долго и протяжно...
Туман сгустел.

В лесу темно и влажно...

Вот где-то филин гукнул как шаман...
Шаманит филин с нынешней зимы,—
мышей полно шаману на поживу.
Он здесь король.

Вот по его призыву
коснулось солнце огненной каймы...

3

Поприсмирели птахи в темноте,
и кони тотчас потянулись к лугу,
и лягушонок бросился с испугу
из-под копыт

и в гиблый пруд слетел.
Скользнуло солнце в колыбель с высот,
скользнул по кронам ветерок крылато...
Легко, светло...

Но неужель когда-то
смерть над планетой косу занесет?!

4

Не знаю я,
какая та коса,
(в земле угроза или в человеке?)
в исчадь ада превратит ли реки
или под корень выкосит леса...
Как многого уже не сберегли
мы, и рабы, не ставшие богами.
Послушайте,

под вашими шагами
стучит тревожно сердце у земли.

5

Все хочет жить: и звери, и комар,
и муравей, и человек, и птица.
Иначе и не стоило родиться,
чтоб жизнь свою растратить задарма...
Конечно же, не ради озорства,
а своего благополучья ради,
пришли в лесок улыбчивые дяди,
пол-леса изрубий на дрова...

6

И было б в том разумное зерно,
тогда б поруб не стал таким позорным:

был птичьим лес, красивым был, несорным.
Ох! Сколько теплых гнезд разорено...
А рядом были сорные леса:
рубить бы их, посколь без дров житуха —
увы, не жизнь, а холод и проруха.
И птички б сохранили голоса...

7

Уродство наше, а не баловство —
те действия, порождающие горе...
«Участвуем в естественном отборе...»
Убить — какое ж это естество?!
Срубили лес, засыпали ручей,
сгубили ключ, разрыли муравейник... —
все в озорстве, от буйности, от лени.
— Круши, дави, — он общий, он ничей... —

8

Сорви цветок... Нет, надобен букет...
Чтоб гроздь сорвать, срубили всю рябину,
срубить другую поручили сыну,
которому от роду-то семь лет...
Сгубили лес. Поругана краса.
Погасла жизнь над бывшими лесами.
В природу вносим коррективы сами,
а после проклинаем небеса.

9

Задумайтесь, великие умы, —
земле кто больше горя причинили:
земля сама ли, правильные мы ли.
Задумайтесь. Наверно, все же мы.
Не все пересчитаешь на тротил,
не согласишься килотоннами опасность...
И так сильна опасность —
безучастность:
да, не убил, но и не защитил.
Вы с умилением смотрите с крыльца,
как ваш красивый, миленький ребенок, —
смотрите, сколько накопил силенок! —
одной рукой ломает деревца.
Да, не убил.
На ваших же глазах
над раненною птицей изгалялись.

Вы не убили,
только удивлялись:
и отчего та девочка в слезах?

10

Мне помнится ответ на мой вопрос, ответ парней, что в парке наблудили:
— Вы деревце одно хоть посадили?
— Зачем? Ведь есть на это «Зеленхоз». Чего пристал?

— Срубili ель.

— И что ж?

На то и лес, чтобы его рубили.

Вот и ее срубили...

— Нет, убили.

Убили так, за здорово живешь.

А в сердце боль тревожна и остра:
так чем же, чем природа виновата?

— Природа что? Вот если брат на брата?..

— А разве нам природа не сестра?

Мы братья — ей,

а вот она нам — Мать.

И самое позорное кощунство,—

пускай оно по простоте, без умысла,—

у матери здоровье отнимать.

11

О, страсть — все в жизни превращать в рубли:
минутной экономии вериги...

Покуда не дойдем до «Красной книги» — торопимся: бери! бери! бери!...

Творим прогресс по тысяче путей,—
так где уж тут до муравья, до леса.

Но есть цена жестокая прогресса — здоровье наших будущих детей.

А вот земле их будет не поднять...—

ужели час прозрения не пробил,
и неужели надобен «Чернобыль»,

«беспечность наказуема» — понять...

Но как покой и веру обрести,
когда не раз увидел черный иней,
который не считаешь говорильней?

Планету словами не спасти.

Мне часто снится сон, вгоняя в пот.
Он страшен:

 синтетические слезы
под кроной синтетической березы
ребенок, не спасенный мною, льет.
Ничем, ничем не замолить вины.
За будущее

 мы
 сейчас в ответе.
Как страшно, если будущие дети
уже сегодня приговорены.
Сколь на земле кровоточащих ран!
И в небе — стон!

 Альтернативы нету:
от катастрофы уберечь планету
мы можем,
 мы должны, —
 нам разум дан.



Петруха Шкворень себя хапугой не считает, хотя его и называют так разные там некоторые. Оснований для этого, считает Петруха, не было и нет. Нет, конечно, он не способен на воровство, но и пропускать сквозь пальцы то, что плохо лежит, давно стало не в его привычках. Брал такое Петруха не сразу, а лишь после того, как убеждался, что вещь бесхозная, брошенная. И как бы там Федька ни разорялся, гвозди он не воровал. Три дня он ходил мимо-около и видел, как лежат они в крапиве и мокнут под дождем. Стало быть, никому не нужны. На четвертый день гвозди были в безопасности и даже облиты машинным маслом: у Петрухи ничего не пропадет.

И что же? Сегодня Федька окрысился:

— Ты украл гвозди!

На что Петруха окрысился тоже:

— Гвоздей я не воровал. Я никогда ничего не ворую.

Вот так-то.

— Ты украл. Больше некому,— повторил обвинение Федька.

— Не во-ро-вал,— по слогам отчеканил Петруха.

— Ты украл!

— Не воровал...

Оба что твои паровые котлы закипели. Вот-вот разорвет обоих...

Петруха усмехнулся. Федька, конечно же, доказать не смог. А после обеда, как оказалось, он уехал в город за гвоздями. Сам директор пообещал высчитать из Федькиной зарплаты стоимость «посеянных» гвоздей. Конечно, только поугал. С Федькой воевать ему не с руки — мужик-то Федька деловой, хоть и орет лишку. И сегодня бы не орал, а подошел наедине и сказал бы, разве Петруха гвозди не отдал бы? Конечно бы, отдал. Тут Федька сам виноват.

Нехорошо, конечно, получилось. Что и говорить, нехорошо. Но гвозди все-таки Петруха как с куста снял. Но не потому весело у него на душе. Растет банька, растет. Еще пару венцов — и можно будет крышу крыть.

Петруха оглядел клеть. Ладная получается банька, крепкая, устойчивая, как настоящая изба, только меньших размеров. Петруха не признает современной архитектуры с «голыми как бабье колено» углами. Нет, дом должен быть цельным: только такой, бревенчатый, с углами с присеком,

показывает натуру дерева, радует глаз человека. И при этом все равно: будет ли это изба, баня ли, или простой овин, но дом должен радовать глаз.

А банька глаз, и в самом деле, радует. Близок день, когда закурится над ней первый дымок, когда поплывет по ней аромат терпкой, сочащейся на прогретых бревнах смолы. Сколько ждал Петруха этого часа, сколько раз в мечтах видел себя блаженно разморенным на пороге своей бани! По чужим-то баням какое блаженство?!

Естественно, баня — не такая уж необходимость. Мало ли — почитай, полдеревни — мытарятся по чужим баням? Впрочем, чаще — по-родственному... Но баня — это вроде как орден: придает хозяину значительный житейский вес, то бишь хозяина Хозяином делает.

Делает Петруха все основательно, расчетливо. Думает, кстати, тоже. Причем, думы обычно не мешают ему в работе. Вот и сейчас, пока думал о гвоздях, бревно пропазил. Петруха придирчиво осмотрел паз, удовлетворенно хмыкнул и, усевшись покрепче на срубе, перевернул бревно. Но оно почему-то не село на место, застряло где-то в седле замка и ни от подкрутки, ни от удара обухом топора не пошевелилось. Волей-неволей пришлось соскочить со сруба и искать задор*. Петруха приложился глазом к бревну, дабы увидеть «чертову заковырку». Приложился — и вроде бы нашел. И вдруг...

Петруха в первый момент ничего не понял. Кто-то больно — даже искры из глаз выбило — дернул за бороду книзу. Петруха рванулся, как зверек, попавший в капкан. И снова искры в глазах вспыхнули. И засаднел подбородок.

Бороду схватили крепко.

Петруха похолодел. Моментально вылетели из головы и гвозди, и Федька, и банька... Ему показалось, что он и впрямь в капкане. А бойкая, но липкая, как болотная тина, мысль подсказала: каюк!

От мысли этой Петруха взвыл и рванулся еще раз. И опять безрезультатно. Но на этот раз досталось и шее. В ней что-то хрустнуло и заныло. Из руки, коротко звякнув при ударе о дерево, выпал топор.

Окончательно поняв, что рывками не выбраться, Петруха обреченно успокоился. Успокоился — и сразу понял беду свою: бревно, которое не смог он осадить, село само. Село плотно, намертво защемив Петрухе бороду.

* *Задор* — заусеница, шероховатость. ♣

Петруха даже рассмеялся. Рассмеялся весело, будто бы и не он попал в капкан, а кто-то другой, может быть, даже сам Федька.

Но смеяться долго не дала борода, ибо прищемило ее, считай, под «корень», прищемило так, что много головой не повертишь, не подергаешь.

«Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Этот, некогда смешивший Петруху призыв теперь не казался ему смешным. Действительно, спасать приходится себя самому. Этому есть, по меньшей мере, две причины. Первая: время позднее, баня — на задворках, а значит — спасать некому. Вторая же заключалась в том, что если бы кто-то и шел мимо, Петруха даже под страхом смерти не позвал бы на помощь, потому как смерть показалась ему гораздо легче, чем последующее за спасением посмешище. Не, уж лучше не жить.

Но умирать Петрухе категорически не хотелось. За свои сорок два года он чуть было не умер два раза.

2

Первый раз это было, кажется, семнадцать или восемнадцать лет назад. Тогда, в середине октября, отправился Петруха в Погореловский магазин за полушубком. Погорелово-то — за рекой, а моста тогда еще не было. Но река не страшна: Петруха тогда был уже не нищий какой-нибудь, лодка у него уже имелась. Не катер, конечно, и вертлявая, но все-таки лодка.

Полушубки тогда не были большой редкостью, да и цена по сравнению с нынешней сносная, но Петруха уже не помнит, почему, но только полушубок приобрел он по знакомству. А раз так, то без «замочки» не обошлось.

То ли от водки, то ли от скорой ходьбы, но на середине реки нестерпимо захотелось Петрухе пить. Не успел он сделать и глотка, как перевернулся вместе с лодкой. От хмеля и испуга начал тонуть. Ему бы за лодку хвататься, а он, отчаянно молотя руками и ногами, поплыл к берегу.

Выплыть-то выплыл, а вот лодку унесло. Жаль было ее, но больше всего жаль полушубка...

Полушубок, конечно же, утонул, а лодку, решил Петруха, надо все же спасти. И в надежде, что прибьет ее течением к берегу, от потрусил следом.

Лодку, действительно, прибило но уже за четвертым крюком и к другому берегу. Тяжело дыша, Петруха бросился обратно. Отцепил лодку Витахи Журавлева — и вдогон.

К счастью, и полушубок оказался цел: зацепившись хлястиком за уключину, он плыл под лодкой и не тонул.

Долго добирался Петруха с двумя лодками до места, и еще дольше тащился от реки домой с намокшим тяжёлым полушубком. А уж перед домом понял он, что полушубка ему не нашивать. Высохнув, он, конечно же, сохнет и будет мал. И в чем теперь он пойдет свататься? Да и отдаст ли Емельян Иваныч свою единственную дочь за такого недотепу? Но, поразмыслив, Петруха пришел к выводу, что если полушубок высохнет на его плечах, то, значит, и будет впору.

Так он и поступил: надев полушубок, улегся в чулане спать. Полушубок-то спас, но сам схватил двустороннее воспаление легких, да еще что-то в придачу. Дело было серьезное, настолько серьезное, что местный фельдшер Кирьяныч все вздыхал да охал, а по деревне прошел слух, что Петруха не жилец уже.

Но выкарабкался. Правда, следующие два года он часто, почти постоянно простужался. Но бабкиными стараниями да неведомой силой ее снадобий организм его постепенно окреп и со временем совсем перестал реагировать на погоду. Даже забылся этот нелепый случай, пока Петруха чуть было не погиб во второй раз.

...Петруха — человек запасливый, на ногу и на руку скор. Бывало, иные еще и глаза не протирали, а он уже из лесу с полной корзиной бежит. Грибы, ягоды... Этого дармового добра никогда не упускал.

Вот и в позапрошлом году в сентябре, как только приспела клюква, подался Петруха на дальние болота. Короб набрал быстро, но, уже выбираясь домой, увидел на островке такую клюкву, такую клюкву, что аж жарко стало. Оставив короб на тверди и соорудив из майки что-то вроде сумки, Петруха захлюпал к островку.

Он почти уже добрался до желанных ягод, как вдруг ухнул в холодную болотную жижу до подмышек. Вскоре затонул уже по горло: вниз тянули и одежда, и полные воды бродни, и трясина старалась поскорее поглотить свою жертву.

Петруха пытался всплыть, но не тут-то было. И уж попрощался он мысленно с белым светом, с жизнью, которую давно ли начал любить, но неожиданно рука наткнулась на твердь. Откуда только силы взялись?! Рванулся Петруха, ухватился за невесть откуда появившийся тонкий и склизкий, но крепкий еще ствол, и, окунаясь с головой в холодную противную тину, вытянулся из трясины. По этому стволу на руках

перебрался на безопасное место. И схваченный радостью, что остался жив, как на крыльях полетел. Подхватив короб, ловко выбрался из болота и бегом одолел те немеренные восемь километров, что отделяли его от деревни.

Дома он переоделся поскорее, смыл с рук и лица тину и... на печь. стакан водки да миска горячей, разваристой картошки, да плошка с рыжиками, умятые там же, на печи, сделали свое дело.

И вскоре уснул Петруха, покойно улыбаясь чему-то во сне. А утром осталось от вчерашнего лишь воспоминание о том, как медленно и уверенно заглатывала его мертвая, противная трясина. Осталось и накрепко легло в память и сны. И к бабкам ходил Петруха, и ко врачам. Не помогало. И тогда прочно закрепилась в нем уверенность, что смерть не отпустила, не оставила его в покое, а лишь терпеливо стережет его, лишь во снах напоминая о своем существовании. Тогда же, повинувшись какому-то наитию, и бороду отпустил...

3

И вот теперь, попавши в переделку, Петруха вновь пережил, отчетливо представил обе передряги. Противным ознобом полоснуло меж лопаток. «Бог-от троицу любит»,— пришло вдруг на ум, и сразу тоскливо и отвратительно стало, словно бы и вправду смерть коснулась его своей тлетворной рукой.

И так и эдак, не обращая внимания на боль, Петруха попытался приподнять бревно, но оно засело мертво и даже не шелохнулось от отчаянных Петрухиных попыток. Стало страшно. Снова гадкая, липкая тина, показалось ему, стала обволакивать волосы, лицо, все тело. Как в полусне, пытается отвести лицо, чтобы выжить, не захлебнуться ею, но тина лезет и лезет в рот, в нос, в глаза.

Машинально отводя голову, Петруха краем глаза заметил топор. Как ни жалко было своей красивой, «купеческой» бороды, он сразу понял, что это единственный путь к спасению.

Топор не отлетел далеко, а каким-то образом стоймя удержался на опилыше.

Близко стоял топор, но достать его оказалось нелегко. Как ни крутился Петруха: и змеей изгибался, и по гусиному шее вытягивал,— но до топора лишь раз и дотронулся, да и то одним пальцем, на большее не хватило и его длинного тела.

Боли он уже почти не чувствовал. Вероятно, такое состояние и есть начало смерти, но мозг работал четко, и сразу пришла как будто бы верная мысль: пододвинуть топор поближе ногой, а затем уже достать его рукой.

Но, увы, мысль оказалась роковой: от первого же прикосновения топор качнулся — осуждающе, показалось Петрухе, — и упал наземь.

У Петрухи затряслись руки — это уже конец.

Он живо представил, как утром прибежит от родителей Зинуха с детьми и, поняв, что он не ночевал дома, прибежит к срубам и найдет здесь его мертвое, висящее на бороде тело. Заголосит она тогда, будет звать на помощь. Помощь, конечно, придет: помогут и обмыть, и похоронить, но смеху по деревне будет, что его и в гробу переворачивать начнет.

И надо же ей было именно сегодня идти к старикам. Могла бы и завтра сходить. Но он тут же спохватился, что сам и отослал сегодня, поскольку завтра банный день...

Тогда тупо и коротко кольнула несправедливая обида на тестя: как ни уговаривали, ни в какую не хочет переезжать к Петрухе. Хотя и его понять можно. Хоть и ослаб уже тесть, но все еще пыжится, стараясь удержать марку *крепкого хозяина* — и корову еще держит, и сад все так же радуется опрятностью и изумительными яблонями, а тесть еще поговаривает о том, что пасеку бы надо возродить. Да, всю, считай, жизнь быть *крепким хозяином* — это больше, чем привычка. Но все больше и больше не успевает, не справляется, и хотя помощи не просит, но приходится Зинаиде, да и Петрухе тоже, все больше и больше разрываться на два хозяйства.

— Да, старики-старики, — вздохнул Петруха и неожиданно встрепнулся от страшного открытия и горько упрекнул себя: — А что же ты-то, пень гороховый, сдаешься? Помереть вздумал? А дети? Неужели сиротствовать и им? Не-е-е-т!

И он упрямо, ломая ногти, в кровь обдирая пальцы, принялся выворачивать бревно. И хоть был неслабым, жилистым, но слишком неудобно было. Бревно так заклинило, что остановился он от суеверного всплеска мысли:

— Бесплезняк. Неспроста это, неспроста!

И Петруха обмяк сразу, безликая усталость опутала мышцы и даже мысли. Петруха встряхивался, пытался найти хоть какой-то выход, но тут же впадал в провал, забывался...

Вдруг он услышал, как кто-то идет по тропинке прямо к срубам. Он уже обрадовался грядущему спасению, зов готов был сорваться с пересохших губ, но неведомая сила заставила прижаться к стене и сдавила дыхание.

И тогда он всем существом своим, каждой клеткой тела ощутил, как тот, подошедший, перебирает доски, заготовленные для пола и полка. Петруха рванулся было спасти свое добро, но больно ткнулся лицом в стену. Не вытерпев боли и обиды, он так громко выдал трехэтажный мат, что тот — как успел все же по тени заметить Петруха — сначала присел от страха, но сразу же вскочил и рванул по тропинке, — только бурьян зашуршал.

А Петруха заскрипел зубами от разгорающейся обиды и беспомощности, потом незаметно для себя заскулил, и горькие мужицкие слезы теплыми горошинами потекли по лицу.

4

А, между тем, на улице стемнело совсем... Резко похолодало. «Заморозок, поди-ка, будет», — подумал Петруха и сразу почувствовал, как сильно продрог: тело ныло и казалось распухшим, и всего Петруху трясло мелкой дрожью. Он попробовал согреться, по-змеиному изгибая тело, топая ногами, растирая кожу везде, куда смогли достать руки.

Устал он быстрее, чем согрелся, но, удивительно, боль из тела ушла, — и маленькая надежда выжить вспыхнула, заряжая размякшую плоть.

Небо вызвездило. И Петруха, может быть, впервые в жизни получил возможность рассмотреть его, тем более, что борода вынуждала смотреть вверх. Он смотрел и действительно впервые ощущал в себе и уважение, и беспокойство, и ничтожность свою перед Великим Пространством. И впервые понял, что в погоне за достатком он потерял нечто большее, чем достаток.

Он забеспокоился, еще неосознанно постигая мысль, что вот замерзнет, умрет и никогда не познает этого большего, чего он был лишен всю свою немалую уже жизнь.

Всю ее он посвятил ему, окаянному, — достатку, которого, пожалуй, так и не увидела мать его, Катерина Строгова, рано постаревшая и преждевременно сошедшая в могилу. Отца своего Петруха не видел ни разу. Только две весточки и напоминают о нем: пришедшие в сорок втором с фронта сначала похоронка, а через день — письмо. Петруха родился в сорок третьем, ровно через полгода после гибели отца.

Можно сказать, с самого рождения он узнал, что такое нужда. Долгими вечерами, когда сидел один в доме, ему казалось, что нужда крадется из каждого угла, из-под печки, как огромный черный паук, и хочет утащить его в свою нору. И с той поры он до тошноты ненавидит пауков.

Нужда была во всем. А в пятьдесят втором году, когда уже начали подправляться дела, постигло их новое несчастье: заболели полиомиелитом брат и сестра. Ополовинилась рабочая сила в семье, и нужда еще сильнее захлестнула их. И получилось так, что, когда сестра в пятьдесят пятом, а брат годом позже умерли, и мать, и Петруха, вопреки горю, облегченно вздохнули. Жить стало немного легче, и мать настояла тогда, чтобы Петруха кончал семилетку.

— Ученому-то человеку в жизни намного легче,— говорила она ему.— Учись, сынок, учись. Смотри, я скоро умру. А тебе — жить. А без учения — ох, как тяжело... Может быть, была бы я ученой, до такой-то степени и не замучилась бы...

И Петруха учился. Ученье давалось ему легко. Наверное, сказывалась врожденная способность заботиться о завтрашнем дне, набирать достаток. А поскольку учение — это, оказывается, тоже достаток, Петруха накапливал в себе знания и умение без понукания. Но воспринимал все механически, не вникая в суть предмета. Если говорили — «красота», он верил — красота, но насколько то или иное красиво, оставалось где-то за разумом. Потому и звезд он не замечал, тем более их красоты. не замечал ее ни в детстве, ни тогда, когда ходил на гульбище, ни потом, когда в доме уже появился достаток и даже некоторое богатство. Вечная и главная забота так и не покидала его.

И может быть, прожив всю жизнь, он так бы и не увидел звезд, не ощутил бы их манящей, холодной красоты, если бы не эта нелепая история.

И Петруха принялся жадно рассматривать небо. Названий звезд и созвездий он, естественно, не знал. Вернее, слышивал некоторые: Полярная звезда, Медведица и еще что-то, но что это такое и «с чем его едят», не знает. Он стоял, пораженный смутной догадкой, что все они имеют свои имена, и это не только яркие точки на небе. Это жизнь. Недоступная. Непостижимая. Вечная.

Вечная... Только сейчас он понял, что смерть — это конец. Что все это останется, но не будет его. Никогда.

Так вот почему так тяжело уходят из жизни старики, так цепляются за последние ниточки, еще поддерживающие их жизнь, и даже тогда, когда уже нет никакой надежды и невероятные мучения разрывают их тела! А ведь до сегодняшнего дня он был уверен — да-да, уверен — что мать живет где-то далеко, и он постоянно был готов проведать ее, но все недосуг, все дела и дела. Но ее, оказалось, давно уже нет...

Петруха вдруг подумал, что он, наверное, уже сошел с

ума, что не мог он думать, будто бы мать жива, ведь не ребенок же он, наконец. Но, поразмыслив, он пришел к выводу, что так оно и было, что подсознание не могло смириться с потерей матери, спасая Петруху от действительного сумасшествия...

Даже в нечастые посещения кладбища, когда приводилась в порядок могила матери, а затем и бабки, подкрашивалась оградка, Петруха, оказывается, просто соблюдал ритуал...

Но смерть — ведь это неоправимо, несправедливо! — хотелось закричать Петрухе. — Ведь это так хорошо и так просто — жить. Надо только согреться. А утром прибежит Зинуха и выручит. Она рано прибежит, ведь у ней очень чуткое сердце. Прибежит, взъерошит ему волосы и ласково спросит: «Что же ты, дурашка?» Главное, согреться...

Он принялся прыгать. Прыгал до иступления. Как он это смог, неизвестно. Некоторые пытались проделать подобное с соблюдением, так сказать, правил игры. Не получалось. Он же прыгал и — не ожидая того — согрелся. Теперь Петруха решил, что выживет. Он изучит все названия звезд. Это же так интересно. Вон та, самая яркая, наверное, Полярная звезда. А это — ковшик. А вот топор...

Б-б-ум! Ш-ш-ух... В предчувствующую преждевременный заморозок землю звучно ударилось яблоко и покатилося в траву.

«Антоновка», — определил Петруха место падения очередного яблока и подумал: «Надо было убрать, как бы не подмерзли...»

Ему сильно, до нетерпения, захотелось вдруг яблок, захотелось именно антоновки — тугого, истекающего соком в месте откуса, плода. Он даже судорожно сглотнул слюну. Голова от глотка дернулась, подбородок сильно рвануло, но боль уже была неострой.

А ведь ему не есть больше яблок, — тяжело прошла в голове мысль. И тотчас Петруха ощутил, что снова замерз. Начал было прыгать, но сил не оказалось. Он качал, изгибал неподатливое, словно бы чужое тело, но все медленнее и медленнее, хотя и казалось ему, что он прыгает. Но вскоре он понял, что нет, не выживет, замерзнет.

Тяжелая обида вскипала в сердце. Все, к чему он стремился, пойдет прахом. Снимут с Доски Почета его фотографию, под которой написано: «Петр Николаевич Строгов, лучший плотник и механизатор совхоза». Лучший — это вам не мелочь какая-нибудь, это вам не Шкворень. А впрочем, что — Шкворень?! Тош, да не переломишь. Шкворнем проз-

вали Петруху за его худую длинноту — метр девяносто три на пятьдесят девять кгэ. Ну и что? Шкворень — так Шкворень, не бьют, чай. Главное, лучший. До этого он был просто лучшим плотником. Правда, Петруха перешел в механизаторы потому, что это дело прибыльное. Но это никого не касается. Сам Сергей Данилович, главный инженер, направил его на краткосрочные курсы, хотя и не без нажима со стороны Петрухи. Плотники в совхозе все еще очень нужны.

Впрочем, Сергей Данилович — в чем он сам признался — не прогадал. Петруха успевал всюду. В страду — он на технике, в межстрадае — на стройке. Ни одна большая стройка не обошлась без Петрухи.

Все свои специальности, кроме механизаторской, Петруха приобрел самоучком: сметливым глазом да тайными тренировками. Может и на токарном немного работать, и по кузнечному делу, но уж плотничья сноровка словно от рождения ему дана.

В деревне говаривали, мол, от отца все это, — тот больших дел мастером был. Найдется ли хоть один дом, где не сохранилась вещественная память о нем? А ведь и прожил немного. Ох, если бы не война!

А вот Петруху недолюбливают. Он это чувствует и переживает остро. И людям старается услужить, в помощи никогда не откажет. Но все усилия укрепить авторитет перечеркиваются по утрам, «на наряде». Федька — мужик ушлый. Зная, что за Петрухой проверять не надо: все сделает «тип-топ», он посылал его туда, где требовалась усидчивость и аккуратность. А такие работы, как правило, оплачиваются «жиже», — и потому редкий наряд проходил без схваток между ними. Нередко Петруха осиливал, чем злил мужиков, потерявших заработок. Но знали за Петрухой и привычку подбирать неприбранное. Кое-кто пострадал за это даже своей зарплатой, — эти недолюбливали сильнее.

Но даже и эти не могли не уважать Петруху за умение и сметку, да еще и за то, что, оказав помощь, он не брал расчета, хотя и не понимали этого. Не понимал Петруха и сам. Но как только дело доходило до расчета, он вдруг испытывал странное беспокойство, похожее на стыд, или еще что-то подобное, краснел и категорически отказывался. К выпивке же относился с явным неудовольствием, хотя и трезвенником не был.

И вот он умирает.

Петруха еще раз вострепнулся и предпринял последнюю, отчаянную попытку спастись, вырвав бороду по волосинке.

Но боль оказалась нестерпимой, и к тому же не слушались уже пальцы...

«Как это волки попавшую в капкан лапу перегрызают?», — подумал было он, но мысль скользнула вяло и уже не вызвала в нем ни обиды, ни отчаяния, ни страха. Ничего! Петруха больше ни о чем не думал. Стоя в нелепой позе, он засыпал...

5

Очнулся он от испуганного крика:

— Петро, что с тобой?..

Не заметил Петруха, засыпая, как заскулил, словно самая разнесчастная собака. Он уже не слышал себя. Он спал... И скулил.

Федор, вышедший «до ветру», вначале не обратил внимания на доносившийся до него вой. Он пошел уже в дом, но что-то остановило его. Прислушался.

«Вой какой-то чудной», — недоуменно поскреб он затылок и, зябко передернув плечами, взялся за щеколду.

«Однако...», — дверь он так и не открыл. Машинально хлопнул по карманам — закурить бы, но сообразил, что стоит в одном исподнем.

«Как человек, воет», — подумал и тут же возбужденно хлопнул себя по лбу: вой доносился от строговского сруба, человеческий вой.

В одном исподнем бросился Федор к срубу. Спотыкаясь и чертыхаясь, наощупь добрался до Петрухи.

— Петро, что с тобой?..

Но и очнувшись, Петруха не мог говорить, только мычал. Наконец, он услышал несколько раз повторенное: «Петруха, что с тобой?».

— Б-б-бо-бород-а, — только и сумел вымолвить Петруха.

— Ах ты, мать моя честная. Да как же это ты так?! — запричитал Федор. — Да как же тебя угораздило-то... Вот сердешный. Ишь как замерз... Вот ведь как... Да что делать-то?..

— Б-б-б-бо-бб-бороду отрезай!

— Подожди, бревно подниму...

Но и ему, как он ни тужился, бревно не поддалось, не покорилось...

— Режь, говорю, бороду, — отчаянно прохрипел Петруха, теряя терпенье.

— Да как же бороду-то? Пошто? Давай-кось вдвоем: ты — топором, я — руками, — засуетился Федор.

Так и сладили. И бревно поддалось, освободило голову. Петруха обессиленно опустился на землю, запричитал, заревел в голос.

— Да ты что? Да зачем? Да не надо,— закрутился около Петрухи Федор.

А тот словно бы и не видел спасителя, сидел на земле и, не стесняясь, голосил, даже не смахивая соленых крупных слез.

Федор покрутился-покрутился и, наконец, решился, поднял Петруху, поставил на ноги и повел его, все еще не успокоившегося, к дому.

Первым делом он раскопегарил приготовленный самовар, затем деловито соорудил яичницу, уверенно отыскал в шкафу бутылку «Столичной»,— знал, что у Строговых всегда в запасе есть, и знал, где...

Петруха пил водку маленькими глотками, не ощущая ни резкости ее, ни запаха. Мелкой дрожью стучали о стакан зубы.

— Пей, пей весь,— приговаривал Федор.

И вот уже почувствовал Петруха, как медленно расплзается по телу тепло. Неосмысленно он посмотрел на стакан, затем на Федьку и бесцветным голосом спросил:

— А сам чего?

— Да что я? Не надо...— нерешительно ответил Федька, но услышав еле слышное «надо», налил себе и Петрухе.

Петруха поморщился, но безвольно выпил. Машинально закусив, он замутненным взором уставился в аляповатый рисунок клеенки. Федор долго не решался его побеспокоить, но его слишком тяготило затянувшееся молчание. Он нерешительно заглянул Петрухе в лицо и тут же отпрянул: перед ним сидел не сверстник, а старик...

Федор суетливо достал чашки, налил чаю, не решаясь смотреть на Петруху. Он, конечно, понимал, что это усталость и переживания изменили лицо его, но смотрел только на Петрухины руки, лежащие на чашке. А когда услышал голос, то испуганно вздрогнул, изменившись в лице. Торопливо сглатывая бегущие слезы, Петруха вдруг стал рассказывать про «капкан», про свое житье-бытье, про нужду...

Для Федора и сама история с «капканом», и «новости» Петрухиной жизни оказались столь неожиданными, что он сидел в оцепенении и заворуженно слушал эту исповедь.

Петруха же и не воскрес еще совсем, а только медленно-медленно оживал...

Утром, проснувшись в половине шестого не по будильнику, который позабыл завести, а по своим «внутренним часам», он не ощутил хвори, хотя боль в теле чувствовалась весьма явственно. Но залеживаться было некогда. Он вскочил с кровати, оделся, привычно плеснул в калабашку кошке молока, сходил во двор и подкинул травы корове и овцам, а заодно принес к печке дров.

От разыгравшегося в топке огня Петруха как-будто был стал оттаивать. «Да черт с ним, позором-то», — решил он, — «переживу как-нибудь и это...»

Вскоре пришла Зинуха с детьми. Когда шумно и весело сели за стол, страх позора улетучился совсем. Петруха и словом не намекнул про случившееся несчастье, — «нечего расстраивать, коль все обошлось»...

На работу Петруха пошел с легким сердцем. Но, подходя к конторе, услышал громкий смех. Среди веселого гула явно выделялся голос Федьки.

— Рассказал-таки, — обиделся Петруха. Он постоял малость за углом, но, о чем идет речь, не понял, решился и вышел к миру.

К удивлению своему, ни насмешек, ни поддергиваний в свой адрес не услышал.

— Хм... не рассказал, кажется, — от напряжения не просто подумал, но и прошептал Петруха.

Вскоре пришел черед удивляться и остальным, когда при распределении наряда Петруха вопреки обычаю сам назвался на тяжелую и не «денежную» работу. Но Федор, зная состояние Петрухи, сделал по-иному.

Весь день Петруха думал: «Почему же Федька ничего не рассказал? Почему?»

А вечером, когда вновь зашел разговор о гвоздях, Петруха, томимый неопределенностью своего положения, неожиданно для всех признался, что гвозди взял он. На него обрушились потоки обвинений и брани. И не сдобровать бы ему, но Федька, Федька, которому больше всех досталось из-за гвоздей, к изумлению односельчан, заступился за Петруху:

— Виноват-то Петруха, конечно, виноват. Но, когда гвозди лежат и гибнут, брошены то есть, кто откажется от дармового? Так?

Все стояли, оглушенные Федоровой речью, и молчали. Только Николай Холкин крикнул:

— Дык, оно, конечно...

— А за гвозди я заплачу,— виновато рассматривая носки сапог, пробормотал Петруха. Он уже знал, что Федька привез гвозди...

...

А жизнь продолжается. В садах падают яблоки, тронутые первым зимородком*. И стелется дым от затопленных бань...

Ночью Петрухе приснятся звезды. Звезды, которые лишь сутки назад впервые разглядел. Это будет ночью, а пока...

А пока Петруха идет по деревне и думает...

...

«Непонятные все-таки люди... Как звезды... Ох!»

* *Зимородок* — т. е. заморозок, морозец.



ЛАРИСА НОВОЛОДСКАЯ

Родилась в 1969 году. Детство прошло в Средней Азии, в Вологде с 1986 года, работала на ГПЗ-23 с 1987 по 1990 корреспондентом многотиражки и инструктором молодежного центра «Радар», заочно училась в ЛГУ на факультете журналистики. Участница заводского литобъединения «Ступени».

ВЕТЕР

В странном городе Н. всегда дул ветер.

Он уносил шляпы зазевавшихся прохожих, ломал зонты и брызгал в лицо мокрой противной жижей. В этом городе жили люди. Они давно свыклись со своей странной жизнью. Люди были замкнутые, с хмурыми лицами.

Я приехала сюда совершенно случайно и почему-то осталась. Жизнь вдруг потеряла счет времени, стала тихой и размеренной. Вскоре я незаметно для себя смешалась с толпой, и мое поведение перестало волновать и удивлять странных горожан.

Чуть позже я и сама привыкла так жить. Спешить теперь было некуда, да и незачем.

Лишь иногда ночами мне снились жаркая пустыня и сарацины в белых головных повязках на верблюдах, которых я видела только по телевизору. Но все же сны эти ассоциировались у меня с чувством далеко оставленного дома.

А вокруг все было загадочно и странно.

Газеты печатали стихи местных поэтов, в которых воспевались журавлиные стаи над покосившимися деревенскими домишками. Но журавлей, как я узнала позже, поэты тоже видели лишь по телевизору.

И тогда я почувствовала, что у меня появились близкие по духу люди. Наши души тосковали о чем-то живом, а на самом деле в городе дул лишь ветер. Он брызгал в лицо мокрой противной жижей, ломал зонты и уносил шляпы зазевавшихся прохожих.

КАПЕЛЬКА

Капелька падала с крыши и думала: «Теперь я буду Морем...» Но тут ударил мороз, и Капелька превратилась в льдинку. Звонко стукнувшись о замерзшую на асфальте лужу и весело отскочив в сторону, Капелька попала в светлый лучик и заискрилась, играя солнечными бликами. «Теперь я буду бриллиантом!» — воскликнула Капелька-льдинка.

Но тут пришел дворник и совком соскоблил Капельку и другие льдинки, собрав их в кучу, а потом перекидав все в подошедшую машину. В машине все смешалось: грязь, снег, Капелька... Теперь она стала почти неразличима в этом сером хаосе. «Кем же я буду теперь?» — зарыдала Капелька. Но этого не мог сказать никто... А дворнику объявили благодарность за образцовое состояние вверенного ему участка.

СЕМАФОР

Стоим, вот, прощаемся. Топчемся на месте в нерешительности: все ли сделано, все ли сказано. А что уже изменишь? Семафор моргает красным глазом, значит, еще рано, значит, есть пара минут. Прощание затягивается. Я начинаю нервничать, глупо улыбаться, отводя взгляд. Чего не сказано, того уже не сказать. Разве что влететь пулей в вагон, собрать шмотки и остаться. Но кому от этого станет легче? Тебе? Мне? Ты будто мысли мои читаешь, загрустил, опустил глаза, делаешь вид, что очень интересуешься старым потрескавшимся асфальтом. Сколько ног здесь вот как топталось...

Ты молчишь — и правильно. Слова были раньше, тогда ты не верил, что я возьму вот так, вдруг, ни с того, ни с сего, и сорвусь, и набыю до отказа неподъемный рюкзак, и куплю на базаре огромную дыню — привет тетке. Ты — мечтатель и фантазер — думал, что будем мы жить в этой дыре долго и счастливо, рожать и растить детей, копать весной грядки, а осенью варить варенье...

Я не любила и не хотела лгать. Зачем? Решать свою судьбу спортивным интересом и корыстными целями — меня не научили. Разозлясь, ты вскакивал и хлопал дверью: «Ну, и люби своего пижона московского! Мотай в его Москву — звал же...»

Да, звал. Ну и что? Назло ему, назло тебе, себе и всему миру поеду в Питер. Эх, Питер, Питер... Мосты разводят, ночи белые — романтика. Забуду там и «пижона своего московского», как ты говоришь, и тебя в том числе.

На часах два с половиной, солнце печет, как в Африке, а меня знобит на нервной почве. Что там, в самом деле, с этим дурацким семафором, чтоб его так-растак?

— Ну, это... пиши,— наставляешь ты.

Как же, как же, нужны тебе теперь мои письма. Сам же грозился: если уеду, хана всему, и не было между нами ничего, и не знали мы друг друга никогда. Последний козырь. Но я играю честно, и, если проигрываю тебе, это совсем не значит, что проигрываю себе.

Для тебя мои умозаключения дики. Где это видано, чтобы девка замуж не хотела?! Да разве дело в этом? Просто мы все немного не приспособленные. Вот зайцы с рождения знают, что надо убегать от лис, лисы знают, что надо кушать зайцев. А мы...

Семафор загорается зеленым, проводница лихорадочно подталкивает в вагон запрошавшихся пассажиров. «Ну, пока,...» — шепчу я тебе в ухо. Ты чмокаешь меня в щеку. Я последней прыгаю на подножку вагона, проводница отпихивает меня себе за спину, но я ухитряюсь высунуться из-за широкого «мужского» плеча, растягиваю в поддельной, как у плохого клоуна, улыбке губы, машу рукой. Платформа, на которой ты стоишь, медленно уплывает.

ТЕЛЕГРАММА

Я летела по телеграфным столбам, спешила точками и тире, я должна была успеть во что бы то ни стало. Меня еще не ждали в том далеком заснеженном городе, где весна не весна, лето не лето, все так себе, грязь и слякоть.

Ты сидел у окна и с тоской смотрел на серый тошнотворный вечер. Временами переводил взгляд на молчаливый телефон. Почему он молчит? Этот звук, разрывающий пустоту, не звенел уже второй час, зато звенело в ушах от головной боли.

Она бежала вприпрыжку, радостная, что сдала экзамен «автоматом», что в кассе за билетами не было очереди, что впереди каникулы, что уже послезавтра вы наконец встретитесь.

Яркая вспышка озарила тихое дыхание теплой южной ночи. Город в пять секунд превратился в разрушенное пепелище. Все заснувшее в этот вечер не проснулось, только казалось, что крик младенца, родившегося в эту секунду, еще висел над пустотой.

Ты превратился в космическую пыль...



Она превратилась в капельку кислотного дождя, пролившегося получасом спустя после взрыва...

Я спешила точками и тире в космическую бездну, я помнила адрес своего назначения, который уже не существовал в действительности, я была обречена на вечную жизнь и вечное скитание. Безмолвно смотрели мне вслед звезды...

Зонтики

По лужам шлепали зонтики
Немного не в ногу,
Скрипели калоши резиной,
Сокращая дорогу.
И вдруг кто-то странный,
Без шляпы
Им крикнул, взмахнув рукою:
— Эй, зонтики! Где ваши рожи?
А зонтики в ответ
Обрызгали его грязью из лужи.
И пошли дальше.
Мы тоже были зонтики,
Шуршали болонией,
В душе мы были добренькие
И жили большой колонией.
Резервация зонтиков!
А потом нация зонтиков!
Во главе с большим зонтом.
Он вел нас к солнечному завтра.
А тот прохожий без шляпы
Кричал (наверное, был пьяный),
Что мы без дождя не протянем.
Но он упал в лужу и утонул.
Его сделали потом
Национальным героем.
С тех пор я решила ходить без зонта.
Но дождь льет по-прежнему.

* * *

Радио болтает
днями напролет.
Снег то пооттаает,
то опять пойдет.
За окном машины
в темноту спешат.

За стеной чужие
 тихо дети спят,
Лампа в люстре — сотка,
 по глазам — круги...
Где-то дома тетка
 ставит пироги.
Из прозрачной кальки
 вырежу цветок.
Как сейчас мне нужен
 нежности глоток.

* * *

Еще немного — и сойду с ума.
Как долго жить нам позволяют боги!
И суеты мешает пелена
Открыть заветные дороги
В заветные леса, где воздух чист
И солнце тает льдинкою на блюде,
Трава блестит росой и день лучист,
И ты... Прости, но мне пора вернуться.
И ждут меня помятая постель,
Пыль на окне, и капает из крана.
А от тебя простая телеграмма
Идет ко мне уж столько долгих дней.

* * *

Д.Т.

Мы сидели в молчаньи.
Ты нервно курил.
Это было отчаянье —
Рушился мир,
Где мы жили еще,
Приближая порог,
Где окурок растоптанный —
Словно итог.

* * *

В кого мне верить?
В бога или в черта?
Нет помощи, нет сил, нет слез...
И снова я одна,

И снова я промокла
От ливня сладкого рыдающих берез.

* * *

Жизнь заново переделав,
Жду, что возникнет
На грани сознания и сна:
Она
Кружится мотыльком у свечи,
Она
Не знает никаких пределов.
Называя любовью стены и потолки,
Что сплелись в согласии
Над нею,
Она
Уходит, запудрив под глазами круги,
Чтобы зря на нее не глазели.
Создавая в воздухе замки из лжи,
Лишь сложеньем решая примеры,
Умирает в мгновение страсти
И рождает кошмарные сны,
На себя чужую жизнь примерив.

.
Жизнь набело переделав,
Жду, что возникнет
На грани сознания и сна...
Но вновь
Кружится мотыльком у свечи
Она,
Не зная никаких пределов.

* * *

Туман пушист, как серый кролик.
Он как бы мягок, но не ощутим.
Иголки инея как будто колки,
Но тают от прикосновения руки...
Так нежности твои туманом полны,
Я чувства в них совсем не ощущаю.
Любовь — иголки инея, их помню,
Но как растаяли — не понимаю.

* * *

Через странные призвуки,
Звуки ненастоящие

Вихрем вертятся призраки
Снега, с неба летящего.
Голос ветра пронзителен,
Фонаря скрип мне чудится...
Есть ли в жизни зависимость
От того, что не сбудется?!



АЛЕКСАНДР ЛУКИН

Родился в 1963 году. Аспирант политехнического института. Постоянный участник заседаний литературного объединения «Ступени». Seriously занимается литературным творчеством с 1986 года. Пишет поэзию и прозу. Отличается резким критическим взглядом на мир.

Я ПРИДУ...

...Идет снег. Просто идет снег. Пушистые комочки застывшей влаги накрывают меня с головой. Подставляю снегу свою ладонь. Чувствую, как капли бывших снежинок срываются с пальцев и продолжают свой полет. Становится мокро и неудобно.

А снег идет. Ему наплевать на мои ощущения. В кристаллической его структуре чувственность отсутствует. Он четко выполняет свое предназначение: падать, падать, падать... Моя неудобность не остановит его падение, его падение не заставит меня остановиться.

Идет снег, иду я. Улица темна, но я знаю куда идти. Я могу дойти туда с закрытыми глазами. Звук шагов скрадывает падший снег. Тишина. Нет, из какого-то окна звучит голос: «Love me tender»*. Я знаю его и его песню. Она звучала, когда меня еще не было на свете, он — давно почил. Слова остались, слова выжили. Я согласен с ними. Я радуюсь тому, что их не слышит никто, кроме меня. Иначе из них сделали бы лозунг и попросили бы подписаться под ним, и обещали бы претворить его в жизнь. Я не люблю лозунгов, я хочу, чтобы только звучали эти слова. В моем сердце. Я подхожу к снегу, протягиваю руку, прикасаюсь к стеклу... оно разламывается острыми льдинками, голос стихает, эхо его съедают провалы пустых дворов.

* «Love me tender» — «Люби меня нежно» — хит Элвиса Пресли середины 50-х годов XX века.

Я продолжаю идти. Уже рядом. Навстречу бежит королевский дог. Прекрасный и ужасный...

Я пришел сказать, что я приехал, никого не было дома...

Впрочем, он (а может, она?) совсем не похож на королевского дога, но я больше ничего не помню. Может, сказать ему: «Шарик, фу!»? Пасть с чавканьем открывается и четко и внятно произносит «Московское время — шесть часов».

Просыпаюсь. Открываю глаза. Снега нет, есть дождь. Конец лета, начало дня. Из зеркала на меня глядит слегка небритый тип. Я его знаю — это я. Я строю себе рожи. Это меня успокаивает — значит, я еще жив. Для начала дня не так уж плохо, Энергия на исходе — подзаряжаюсь.

«Anybody find me, somebody to love»**. Опять кто-то поет. Я знаю кто — это я. Что ж, прекрасно, так и запишем: «Встал, поет песни». Поглядим, что он будет петь вечером.

Неясные образы, смятенные эмоции, смутные видения. Некое воспоминание проскальзывает в мозгу. (У воспоминаний нет хвостов, поэтому их очень трудно поймать.) Оно увертывается от расставленных рук и быстренько прячется в какой-то извилине, укрывшись в подкорке. Я чувствую, как оно надывается от смеха: «Не поймал! Не поймал!» Глупенькое! Я-то прекрасно знаю, что никуда оно не денется из этой черепной коробки, и я его все равно поймаю, даже несмотря на то, что у него нет хвоста. А вообще-то мы очень неплохо уживаемся: ведь я все помню.

Я пришел сказать, что хочу тебя видеть, никого не было дома...

Я вижу тебя. Ясно. Отчетливо. Близко. Если протяну руку — дотронусь до твоей щеки. Сделаю один шаг — почувствую на своем лице твое дыхание. Я не протягиваю руки, не подхожу ближе. Я только люблюсь тобой. Ты улыбаешься — я улыбаюсь в ответ. Ты смеешься — я заливаюсь смехом. Я не протягиваю руки... Я уже видел, как разваливаются льдинки. Прохожие оборачиваются на мой смех. Я говорю, что все в порядке, просто у меня длинные волосы! Они настороженно соглашаются, смущенно кивая в ответ, и идут дальше, желая оглянуться, но скоро забывая об этом. Они не видят тебя — я закрываю тебя собой. Я хочу один смотреть в твои глаза.

Твои губы шевелятся — я не слышу. Жаль, что я не умею читать по губам. Я не слышу! Ты мягко растворяешься во влажном воздухе...

** «Anybody find me, somebody to love» — слова из песни группы «Куин» «Кто-то, кого я люблю»: «Пусть кто-нибудь найдет меня, тот, кто любит меня».

Разбитое стекло засыпает снег, оно все продолжает дробиться. Осколки все мельче и мельче. Отражение исчезает, мелькают искры света, неясные образы, смятенные эмоции, смутные видения. По улице движется колонна людей, они скандируют: «Love-me-ten-der». Их лица напряжены, глаза обеспокоены — они не знают, что говорить дальше. Я знаю, но я им не подсказчик. Я смотрю на разбитое стекло, но под ногами лишь крошево снега. Дорога в Зазеркалье мне заказана. Это меня успокаивает — я еще не прочь подышать воздухом этого света. Я иду дальше. Я знаю, куда идти. Я могу дойти туда с закрытыми глазами.

Я пришел сказать, что я уезжаю; дома была записка...

Нет никаких собак, кошек — и тех нет. Я снова стою перед зеркалом и хитро улыбаюсь. Я приношу извинения самому себе: «Извини, друг, но так получилось. Короче, никуда ты завтра не поедешь». Тот, кто за зеркалом, не менее хитро скалится в ответ: «Пароль помнишь?» — «Love you tender» — бодро рапортую я. Мы дружно смеемся: мы с отражением — большие приятели.

Уже вечер, я все еще жив. Что ж, не так уж плохо для конца дня. Чувство черного юмора — верный признак нормального дыхания. Снега нет, дождя нет, нет улиц и домов — только светлые пятна окон на черном фоне. Конец лета, начало ночи, зрелость года, юность эры. А жизнь... А жизнь — она продолжается.

Я приду, чтобы сказать, что я...

Кто откроет дверь?



Мотивы

Под стон хрипящей сирены,
Скользя, уйдут в туман
Моих ожиданий
Пронзительно печальные аккорды.
И в шуме пьяной таверны
У края мироздания
Заглохнут в стакане
Моей мечты последние цветы
О как наивна мечта:
В чужих волнах свободно ставить парус.
Разорванный в клочья,
Он дань отдает бушующим штормам.
И неприступна черта,
Что встречи разделяет с ожиданьем.
Разбитую лодку
В свои объятья примет океан.

* * *

Встречный ветер грусть мою
В облаках перемешает,
И небесная печаль
Увеличится немного.
Устремясь в чужую даль,
Я иду. Мне помогает
Встречный ветер. Ради Бога,
Не тревожьте грусть мою.
Пышно вишня расцветает.
Лепестки цветов, неслышно
Раскрываясь на рассвете,
Источают аромат.
Больше песен не поет
Соловей — они излишни.
Озорной вишневый ветер
Охмурил весенний сад.
У деревьев постою —
Отдохнуть не помешает.
Помечтаю о своем,
Напою мотивчик новый.
И пойду своим путем.
Звук шагов в саду растет.

Встречный ветер и вишневый —
Не тревожьте грусть мою.

* * *

Скольжу запретным взглядом
По амбразурам окон
И слышу — где-то рядом
Шумят по водостокам
Кислотные дожди.
Во влаге их раскисли
Вчерашние вожди
И силуэты близких.

Потерянный с утра
В тумане, как в романе,
Навстречу всем ветрам
Несу в своем кармане
Не правду и не ложь,
А лакмуса бумажку,
Чтобы, попав под дождь,
Не совершить промашку.

Крыш прочная броня
Не пулями пробита.
В прорехи вижу я,
Как хмурится сердито
Усталая заря.
Сверкает на железе
Светлее янтая
Слеза на ржавом срезе.

* * *

Закат коленопреклоненный
Уже совсем погаснуть рад.
На берегу уединенный
Раскрою книгу наугад.
Сверкнет последнею искрой
Погожий день в оправе ночи,
Рассыпав в небе звездный рой,
Она нам новый день пророчит.
Кто б не хотел под блеск зарниц
Мечтать о самом сокровенном?
А бабочка среди страниц —
Печать живого на нетленном —

Напоминает краски дня.
И правда, вот уже светает.
Беззвучно новая заря
На горизонте прорастает.
Тому, кто спит, пора вставать,
Вновь суетиться бестолково.
Вот новый день пришел опять,
Но ты скажи, а что в нем ново?
Проснулась хмурая вода,
И лес свои расправил кроны,
А на заборе, как всегда,
Лениво каркают вороны.

* * *

Неловким жестом дай свободу слову,
Но лишь, прошу, не погаси свечу,
Вернись к когда-то брошенному крову,
А я в воспоминанья улечу.
Я больше не пойду чужой дорогой.
Моей судьбе дана своя стезя.
И пусть она покажется убогой,
Зато ни тишь, ни гладь ей не грозят.
И если я когда-нибудь услышу
Еще одно признание в любви —
Не мартовским котом взлечу на крышу,
А только шею выну из петли.

* * *

Мы вновь вдвоем в моих мечтах.
Все блажь, занятие пустое...
Но время смоем наносное,
А ты останешься во снах.

Нам было все предрешено,
Свиданьям четкий срок отмерен.
Брожу по улицам, потерян,
Ищу твоё лицо я, но...

Теперь кому какое дело —
Не оглянуться во вчера.
Что было черным, станет белым
За матовым стеклом утра.

Безмолвно небо серых крыш,
Лежу, уставившись в пространство.
Любви цена — непостоянство,
А ты под утро крепко спишь.

В толпе похожих на тебя
Готов отыскивать часами,
И есть их поедом глазами,
Лишь за похожесть их любя.

И прежние стихи мертвы —
В них радость скована печалью.
И встретившись за дальней далью,
Я обращаюсь к тебе на «вы».

В твоих глазах погашен свет,
Лишь отголоски звезд мерцают.
Слова последние растают
Как пауза меж «да» и «нет».

Когда растопит снег весна
И бросит в небо птичью стаю,
Тех дней тетрадь перелистаю,
А ты останешься во снах.

* * *

Ночь безразличием полна.
Пустынны улиц перекрестки.
Снежинок тающие блестки
Тасует теплая зима.

Глаза холодные закрой,
Верни зиме обратно стужу.
Едва оттаявшую душу
Накрой промозглою пургой.

И совершив такой обряд,
Рассыпся в небе льдистым смехом.
Кому — печаль, тебе — потеха,
А я так буду только рад.

Но свет усталых фонарей
Пустого сердца не согреет,
И ночь ничуть не просветлеет,
А станет только лишь темней.

...Взойдет багровая луна,
Былой приязни прах осветит.
И волчьим воем даль ответит.
Ночь безразличием полна.

Я возвращаюсь.
 Я бросил свой дом —
 в нем не осталось тепла.
 Я вышел на улицу
 звезды считать, как ворон.
 Меня отделяют от света
 миллиметры стекла.
 Меня отделяет от дома
 высокий порог.
 Но только ступлю на порог,
 Как дверь закрывают на прочный висячий замок.
 Закрою глаза,
 чтоб рассмотреть темноту.
 Она самый мрачный,
 но самый преданный друг.
 Я снова бросаю свой дом,
 преступая черту.
 Бегом возвращаюсь к дождю,
 замыкая свой круг.
 И только покину порог,
 Как вдруг просыпается голос забытых дорог.
 Я быстро пройду
 строем почетных аллей.
 Ветер развяжет мне шарф,
 но покажет мне свет.
 Я возвращаюсь туда,
 где мне было теплей.
 Я возвращаюсь туда,
 где меня уже нет.
 И только покину порог,
 Как тут же, качаясь, уходит земля из-под ног.
 Слышу: твой голос
 в ночи призывно звучит.
 Я понял, что опоздал,
 и бросаю такси.
 И я возвращаюсь к себе,
 чтобы взойти на порог,
 Который я бросил затем,
 чтоб к нему не прийти.
 Но только ступлю на порог,
 Как боль возвращается в стене забот и тревог.

В мире медленных стекол, прозрачных зеркал
Равновесие снов предрекает обвал.
И обрушится здание стройных речей,
И сорвется с цепи знамя красных ткачей,
И останется вкус неудачных ночей,
И послышится звон обнаженных мечей,
И прервется на миг нескончаемый бал,
Кто жесток, тот и съел, кто хитер, тот украл.
Но незнающим боли не страшен капкан,
А бредущим во тьме безразличен туман.
Нищим духом вовек не поможет сума,
И дурак потихонечку сходит с ума.
Но ему, дураку, наплевать на процесс,
А ему все равно — он с умом или без.
А другим помирать, как настанет черед —
Кто-то страхом кричит, кто-то песни поет.
И бредут мертвецы в свой последний приют,
И только тени снуют,
 И только тени снуют,
 И только тени снуют...



МИХАИЛ ЖАРАВИН

Работает наладчиком в ШСЦ-6 23 ГПЗ. На заводе — около 10 лет. Первая проба пера относится к маю 1989 года. Член литобъединения «Ступени» с того же года. Пишет о людях, которые его окружают, их критических минутах, которые бывают в жизни каждого. В сборнике представлены стихи и проза молодого автора.

* * *

Не восхождение путь мой, не прямая,
А ломаная.
Каждый угол — спад.
На верхней точке мне никто не рад,
Да и внизу не слишком понимают.
Но суть — есть суть, и я иду, иду,
Врагов, друзей я перепутал лица.
Не плачу... и над чем тут веселиться...
Я не нашел еще свою звезду.

* * *

Привыкший слепо двигаться вперед,
Как стадо в темноте за гуртоправом,
Затянутый в разгул хмельных болот,
Народ всегда унижен и бесправен.
Встряхнувшись, как щенок, попавший в дождь,
Народ, не жди ни чуда, ни покоя!
Развенчаный теперь «застойный вождь»
Еще царит над общею судьбою.
За гласностью — полемика газет,
Что истину рождают только споры...
За дефицитом — призрачный, но свет —
Штампованные карточные горы.

А выход, как всегда, один — трудись!
Трудись во имя, приближая сроки,
Застойную сдирая грязь и слизь,
Не забывая прошлого уроки.

* * *

Я слов обидных не скажу тебе —
В молчанье тоже праведная сила.
Я долго ждал,
И кровь моя остыла,
И вот плетусь — холодный — по судьбе.
Коварство встреч...
Душа — обрывки фраз.
В небытие утраченное канет,
Но будущее, как загадка, манит,
Друг к другу тянет каждого из нас.

* * *

И ничего... И никаких просветов...
Я буду жить в тоске своей глухой
Средь немоты написанных куплетов
И авторучкой, будто бы сохой,
Поля тетради бороздить бездумно:
Стихи, рисунки — руки, много рук
И лиц, и глаз, и, замыкая круг,
Опять стихи — наивно и неумно.

* * *

И улыбнется женщина в ответ,
Когда с улыбкой доброй подойдете...
Насупит брови грозно ваш сосед,
Как только зло ему преподнесете.
С улыбкой если в зеркало смотреть,
Оно всегда улыбкою ответит,
И в зеркале вполне легко заметить:
Гримаса злости — зло несет в ответ.
Заметьте, как весенним ясным днем
И в мутных лужах солнышко смеется.
Как мы живем, что в эту жизнь несем —
Зеркальным отраженьем к нам вернется.

Сынишка гладил медвежонку лапу
 И говорил: «Мам, я не лягу спать,
 Сегодня мне дожждаться надо папу...»
 А что она могла в ответ сказать?
 «Он обещал мне починить игрушку,
 Вот видишь, Мишка лапу поломал...»
 А то, что папа получил получку
 И где-то пьет — того малыш не знал.
 «Ложись, сынок. Наш папка спит давно,
 Сегодня он, наверно, не придет...»
 Но сын не спит, отца упрямо ждет,
 И ожиданьем плещет ночь в окно...

Набросок с натуры

Вот он взболтал. Потом открыл спокойно.
 Разлил. Сказал: «Глотнем — а то как...»
 Таким ко мне явился ночью друг —
 Он пьян был и с бутылкой.
 Но довольно
 Об этом.
 О другом хотел сказать.
 Мы выпили по первой, по второй,
 И тут он начал:
 «Можешь ты понять,
 Как мне сейчас не хочется домой...
 Читай стихи... Читай о грязных шлюхах,
 Читай о горе и о пустоте,
 Читай о злых и беспощадных слухах,
 А на закуску вдарь о чистоте...»
 А я прочел ему всего одно —
 О том, как ждет домой сынишка папу,
 О том, как гладит медвежонку лапу,
 О том, как ночью светится окно.
 И он, подумав, произнес, трезвея:
 — Ты будешь пить еще?
 — Я — нет.
 — Я тоже — нет. Спасибо, друг,
 Ты — все-таки поэт.
 Ну, ладно, Я домой... пойду... скорее.

В Вологду бабушка Настя задумала внуку письмо:
 «Здравствуй, внучок ненаглядный,
 кукленок родимый!
 Как ты живешь? Попивает ли папка вино?
 Мачеха как? Обижают, поди, тебя, милый?
 В школе-то как? Не шали и учись хорошо!
 На худо, Тема, учитель тебя не наставит,
 Зла никакого, смотри, не держи за душой —
 Легче и жить, и учиться, Артемушка, станет...»
 Снова писала:
 «Езжай, буди, милой, в деревню,
 Этта и лес, и речушка, и воздух как чист,
 Есть и корова... Мы сытно живем и не бедно.
 Буде, решай — телеграмму отбей, отпиши —
 Сразу приеду, аль дедка пошлю к вам, хороший.
 Школа и этта не хуже — и рядом, хотя не тащись
 Эстоль далеко по городу с эдакой ношей.
 Этта не хуже. Дружок твой, Пустохин Олег,
 Спрашивал даве — когда, мол, приедет Артемка?
 Бегали б вместе, топтали по берегу снег.
 Лыжи тут есть, и коньки, и железные чонки.
 Здесь ты на воле. Ругаться не будет никто.
 Летом раздолье, захочешь — по ягоды сходим.
 Да, даве Тонька купила тебе меховое пальто.
 Ну, в аккурат на тебя и шикарное вроде.
 Видишь ли мамку? Видаешь ли младшего брата?
 Как она там? Не видала обоих давно.
 Чула, оне приходили, просились обратно,
 Только твой батька уперся — не «тпру» и не «но».
 Ладно, коли разошлись, так живите, как лучше...
 Брата бери, приезжайте к нам вместе, вдвоем.
 Здеся вдвоем-то никак уж не будет вам скучно,
 Ну, да и мы с вами повеселей заживем.
 Ну, до свиданья, мой ангел!
 Привет от Олега.
 Да по привету от нас говори и отцу.
 Коли захочешь, отбей телеграмму — приеду...»
 Вот и конец бабнастиному письмецу!

* * *

Сквозь испарение земли,
 Когда лежишь в зеленом поле,

Взгляни на лес — и поневоле
Его танцующим вдали
Увидишь.
Встань — и лес замрет.
Приляжешь — снова, снова хоровод!

Утро

Тьма налетела черным петухом
И в окнах свет склевала, будто зерна.
И только отсвет месяца озерный
Растерянным смотрелся двойником.
Шептал о чем-то ласково камыш.
Плескалась тихо лунная дорожка.
Насторожилась елка, словно кошка,
Которая выслеживает мышь.
Вползло на берег озеро туманом
И целоваться начало с землей...
Ночь, устыдившись дерзости такой,
Зарозовела пламенно и странно.

* * *

И мы пошли по середине лета.
Нас провожал некрашенный забор —
По большаку двоих от сельсовета,
Ведущих меж собою разговор.
Свивалось в нить: о жизни и о детях,
О сенокосе трудном, о дождях...
И чудилось тепло в твоих ответах,
В улыбке на малиновых губах.
Уехал я. Но голос твой — у ветра
И небо цветом, как глаза вдали,
Уносит память — в плен за километры
В село, где мы по большаку прошли...

* * *

Развалины минувшего в душе
Рассыпались, отбушевали страсти.
Но оттиском тяжелого клише —
«Развод оформлен» — карта черной масти...
Я бью ее козырным королем
И веер дам в ладонях зажимаю,
И незаметно землю выбиваю
Из-под себя звенящим хрусталем...

Пристяжные рвутся в стороны,
 Коренные тянут воз...
 Кружат черные, как вороны,
 Мысли горькие до слез.
 В этом поле, мною брошенном,—
 Ни пшеница, ни ячмень —
 Стынут жалкие горошины
 Опустелых деревень.
 Междуполем разрастается
 Зелень горькая полян.
 Спится мне, и представляется
 Цвет несеянных семян.
 Здесь и там — кругом отсеянный.
 Коренные тянут воз!
 Бьюсь, как мерин непристреленный,
 Провалившийся под своз.
 Догнивающую матицу
 Подпирают горбыли,—
 Кумачовым солнцем катится
 Благодать с моей земли...

А встретились опять у магазина.
 Линялое трико, в авоське — тара,
 Не брит, не мыт — горилла, образина...
 — О, Господи, моя ли это пара?
 Когда-то — ветер, гитарист, позер...
 Того — любила, этот — чудо-юдо.
 Трясется весь, звенит пустой посудой.
 Ни капельки стыда... Какой позор!
 И комната — в курилке общей чище —
 Чего тут нет, какого барахла:
 «Ну, почему ты женщину не ищешь?»
 «Зачем? Чтоб так же, как и ты, ушла?»
 Скоблила зло, отправив мужа в баню,
 Полы, посуду из последних сил...
 Пришел — сказала:
 — Больше чтоб не пил!
 Я — насовсем... А маленького Ваню
 От мамы тоже завтра привезу...

Мы видимся нечасто и случайно.
 Пройдешь — и мне становится теплей,
 Но домик твой окутывает тайна —
 Забор из шелестящих тополей.

Знать, тополя мне надобно спилить,
 Чтоб на себя вниманье обратить!

* * *

О, Господи, не дай дитя обидеть!
 Вот этого никак мне не понять —
 За что ребенка избивает мать,
 Когда он просто хочет папу видеть?
 И он сидит в квартире под замком,
 А то сбежит еще — потом морока...
 И рвется сын меж мамой и отцом,
 А мама часто с малышом жестока.
 И он растет озлобленным зверьком
 Под властью нервной разведенной мамы.
 А люди удивляются потом —
 Откуда молодые наркоманы?

На сенокосе

Пошелкивал кузнечик.
 Гонял лягушку сын
 По берегу у речки
 Меж тоненьких рябин...
 А солнце то пылало,
 То спало в облаках,
 И сено подсыхало
 В ворочаных пластах...
 Вилась тропинка плеткой
 Нескошенной травы,
 Казалось небо слепком
 Тепла и синевы...
 Достал топор, подправил
 Подстожник, стожары,
 Отножники поставил,
 Потая от жары:
 «Давай, сынок, покруче,
 Управимся скорей!
 Сволакиваем в кучу,

Сметаем поживей».
Таскали сено дружно
На вилах, на граблях.
Труха носилась вьюжно
И липла на телах...
Потом плескались в речке —
Смывали пыль и пот.
Садилось солнце в вечер,
Скрываясь за зарод.
Умаялся мальчонка,
Но как доволен взгляд!
Он так смеялся звонко...
И я за сына рад!

Одиночество

Совсем одна. Молчащий коридор.
Сердечный голод в маске интеллекта.
А в памяти — последний разговор
И строки бесполезного конспекта.
Надменен вид. За ним, внутри — печаль.
Все счастье-то — престижная работа.
А по ночам невыносимо жаль
Прийти не обещавшего кого-то.

* * *

Эх, пропадай, несчастный мой червонец!
Не потерял же — а любовь купил.
Привез домой и в ванну посадил,
Шампунь подал и пару полотенец.
А сам на кухне чайник кипятил.
Она помылась, выстирала платье.
И только тут заметил — вот проклятье! —
Такое и жене я подарил.
Мы пили чай. Она была мила
В моем трико, без туши на ресницах.
Но взгляды не скрещали — стыла в лицах
Унылая постыдность ремесла.
«Иди ложись!» — и было слышно: в спальне
Под юным телом скрипнула кровать.
Сидел я долго.
А потом печально
Остался за столом, корячась, спать.
Спал полулежа. Снилось мне былое —

Малютка-дочь, красавица-жена...
Как будто бы они еще со мною —
Любим, не брошен...
Женщина — она
Ушла неслышно рано поутру.
Проснувшись, я нашел под чистой миской
Червонец мой, а рядом с ним — записку:
«Я с праведников платы не беру...»

Я бог и царь в кругу моих стихов.
Здесь против ни один не сможет пикнуть.
Я шапки с головами снять готов
Не в настроенье, не пытаюсь вникнуть
И разобраться, где среди них «злодей»,
А где пустышка — языку забава.
И подданные гибнут без вестей,
На выход в люди не имея права.
Я — деспот, я палач, но горько мне
Казнить стихи за собственное «не».

* * *

Сказать все прямо, посмотреть в глаза
Ты не смогла — ни смелости, ни воли...
Мне снова с болью помнится гроза
И мы вдвоем с тобой в зеленом поле.
Как два щенка, промокшие насквозь,
Мы тыкались друг в друга слепо лбами.
Казалось, все решилось — мы не врозь
И никаких вопросов между нами.
Раз так пошло, ты с мужем развелась,
Со мной жила — любила, видно, все же.
Истосковалась, прежним извелась.
Я чувствовал, что старое — дороже!
Вернулась к мужу. Вот письмо твое,
А в нем «прости» да «извини» сплошные,
Больней и глуше сердце бьет мое:
Не разорвать... родные вы, родные...

* * *

И снова ложь — плевком —
летит в лицо.

Жую ее — и не сопротивляюсь.
Не на руку бы мне, а в нос кольцо,
Раз ложью, как травую, я питаюсь...

* * *

В полупоклоне Родина застыла
И протянула руку — просит хлеба...
Да ладно б — хлеб! Все ценится не наше
От пуговиц до мебельных наборов!
Торг под заем?!
Да мы же попрошайки!
Выпрашиваем — и ничуть не стыдно...
За нас не нам обидно — иностранцам.
Ждем благодати, как небесной манны...
Лишь только там бывает изобилие,
Где тот, кто производит, не в прогаре...
У нас же спрос командует парадом:
Чем меньше выпускаем — больше спросу!
И под шумок накидываем цену...
Порочная система бесколесна:
Вперед бы рады — не на нечем поехать,
И государство шарит по карманам,
Не у себя, конечно, — у народа!
А Родина стоит в полупоклоне —
Лицом к канадам — просит подаянья...

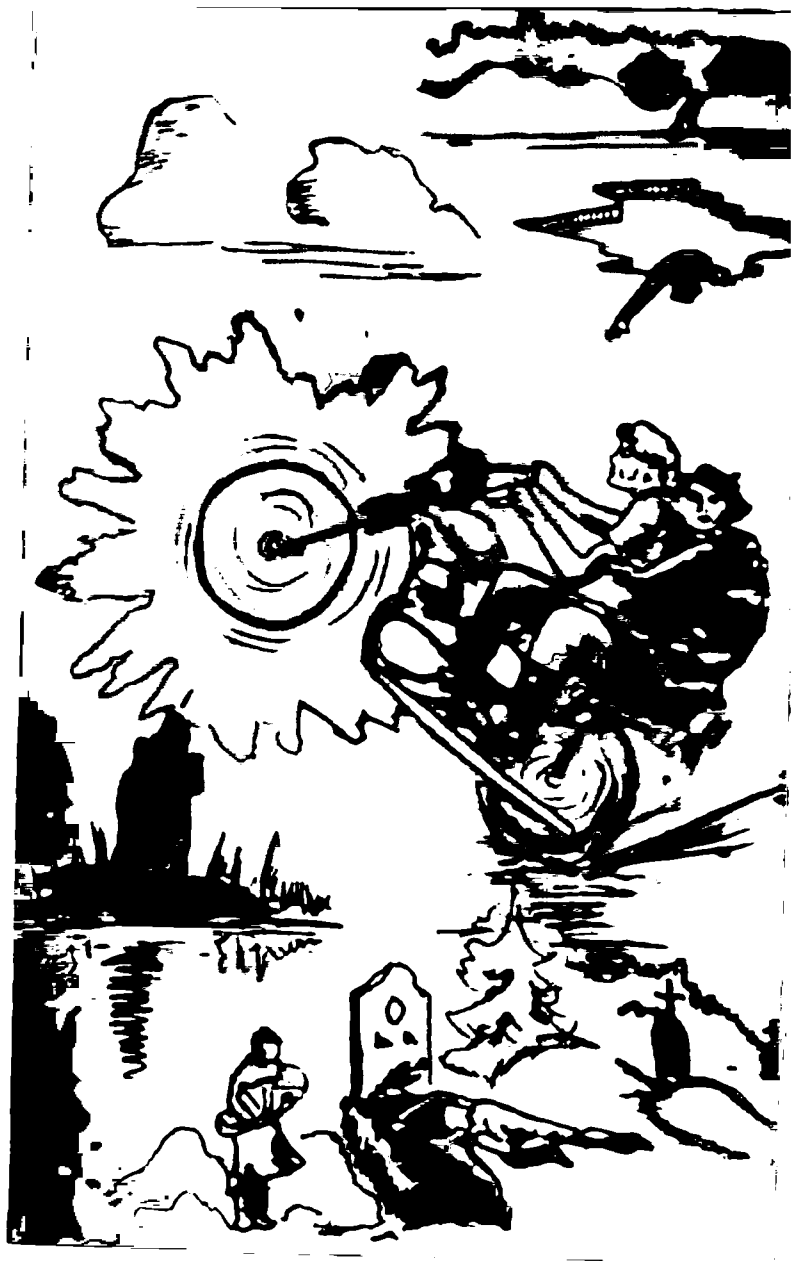
* * *

Портрет семейный убрала в комод,
Кровать бельем чистейшим застелила.
Протерла пыль, потом полы помыла:
Все, вроде, чисто? Кто их разберет...
На той неделе Вася с таксопарка...
Подвыпили — уснул, и ну давай храпеть...
И бес с ним!
Тут уж не о чем жалеть:
Ему же баба — мертвому припарка!
Немного раньше Костя был, поэт.
Бог наградил лицом — ну просто Гоголь!
Соседей разбудил — проклятый щеголь —
Стихи читал — какой-то пьяный бред...
На воскресенье ночевал Сережа...
Вот тот — мужик!
Да жалко, что женат.

Жена — насадка, четверо ребят,
Но спать с ним... и сейчас мороз по коже.
Сегодня должен Владик подойти.
На вид красив, а в остальном — потемки.
Привыкла... Лишь бы вечер провести.
Как хорошо, что бывший взял ребенка!
Когда сынишку привела к нему,
Он сам над ним затрясся, как ребенок.
Глупец! Чему он рад, я не пойму?
Да пусть живут — его же пацаненок...
Подвинула на середину стол,
Поставила свечу, вино, закуску —
Чтоб было все, как у людей, по-русски...
Ждала, сидела — наконец пришел.
Чуть горбонос, до синевы побрит.
Коньяк поставил и сказал с акцентом:
«Вот... Здравствуй...
Что ж, давай за встрэчу пит...»
И все твердил о солнце над Ташкентом.
А жизнь хмельным туманом заплыла —
Ни чувств в душе, ни радости, ни боли.
Вся жизнь, как мгла... Предутренняя мгла...
Постель и стол...

объедки...

россыпь соли...



К вечеру деревушка оживала. После дневного зноя свежесть и легкий ветерок особенно приятны.

— Мам, я в кино,— хлопнула калиткой Лиза.

— Поди с богом, доченька,— ответила Агриппина с огорода, поливая огурцы.

Сосед Прохор, старичок лет семидесяти, проводил Лизу взглядом, поцокал языком, свернул козью ножку, раскурил, смачно затянулся, покашлял, затем обратился к Агриппине:

— Гапка, слышь меня, сознайся — от кого у тебя девка? Ничего ж твоего нету...

— Старый мерин,— заругалась соседка.— Одной ногой в могиле, зубов нет, а только на молодых бы и смотрел да облизывался.

Лиза Бахмутова — девка на выданье, из-под ручки поглядеть — и ростом, и лицом. Фигурка — будто мастер-умелец вырезал или вылепил из послушного материала. Волосы черные, как смолина обгорелая, кожа матовая, нежно-розовая, брови ровные, дугообразные, ни подбрасывать, ни выщипывать не надо. Глаза у Лизы огромные, голубые, даже зеленинкой отдают. Походку от матери переняла гордую, неторопливую.

— Не идет, а пишет,— хекнул вослед Прохор.— Ох, будет разбитых носов у парней...

Но Лиза строга с мужским полом, хоть парни и липнут, будто мухи на мед. Не любила еще никого, да и вообще считает — нет ее, любви-то... Враки одни. С детства запомнила слова — «наблюдаванная», «подстилкина дочка»... Так, бывало, дразнили. Свою старенькую мать Лиза любит, но в душе обижается на нее — отца не было. Себе планирует — если уж иметь детей, то после замужества, чтобы никто поганым словом не называл. Может, так все и было бы, да только судьбу не по прямой не обойдешь, не по кривой не объедешь...

На гостей в деревне всегда больше внимания обращают. Присмотрела Лиза Баскова Сережку, знает, тридцать ему уже было, а на вид — и двадцати нету. Волос курчавый, темно-пепельный, брови черные, глаза карие, ни одной морщинки, сам высокий, стройный... Невзначай, будто шутя, поинтересовалась:

— Чего ж ты-то, Сережка, такой молодой? Вон, твои одноклассники, что в деревне живут, перестарки, сравнить если...

Отвечал он почему-то невесело:

— Пашут они здесь, Лиза, за себя и за тех, кто по городам в примаках. За меня, выходит, тоже...

— А ты что же в городе — спишь да отдыхаешь, не работаешь разве?

— Работаю... оператором: пришел — включил, пошел — выключил... Три сотни платят, не уломался...

Бес попутал. Заторопилась Лиза с дальнего сенокоса домой, не захотела вместе с матерью соседа ждать — обещал увезти на лошади. Пошла пешком лесовозной старой дорогой — все ближе, думала.

Догнал Басков на мотоцикле, подвез. Так и началось знакомство.

— Садись, если не боишься, — предложил.

— Не волк, не съешь, — и села, а не надо было.

Ох, и гнал Сережка тогда — держаться не за что, за него самого только. Стеснялась вначале, но кусты хлестали больно — того гляди без глаз будешь. Вот и обхватила водителя руками, прижалась грудью к разгоряченному гонкой телу, уткнулась лицом в спину. Сережка горланил: «Эх, мороз, мороз, не морозь меня...»

Не ехали — летели, ничего не слышала больше, не чувствовала. Возле дома остановил — поблагодарить забыла.

Вечером на танцах снова встретились, пригласил потанцевать. Услышала, как завклубом — полная женщина — говорила мужу своему:

— Вот парочка — будто друг для дружки лажены, — и кивала головой на них с Сережкой.

Ушла после первого танца домой потому, что вдруг поняла: если позовет Сережка куда-нибудь, не отказать будет.

Не было никого у Лизы до Сережки, а теперь уж и не надо никого, но как подумает, что в городе у него жена и двое пацанят, так сердце кровью обливается, выть хочется в полный голос.

Бог троицу любит — третья встреча все и решила. В райцентр ездила Лиза. Освободилась рано, автобуса ждать да ждать, вот и голосовала на развилке, думала попуткой пораньше уехать.

Подъехал Сережка на мотоцикле, оказалось — за билетом в аэропорт приезжал.

— Так скоро уезжаешь? — спросила.

— Если через месяц скоро — значит скоро. Билеты за месяц продают, и то в очередь, — ответил Сережка. — Поедешь со мной?

— Конечно, — просто ответила Лиза. — Даже в город, если позовешь...

— Пока только в деревню... — и стал снимать куртку.

— Зачем? — спросила.

— Пыльно. Оденешь — чище будешь.

Одевала Сережкин пыльник — пуговиц застегнуть не могла: руки дрожали, хорошо, сам помог. Чужало все-таки сердце.

Как ехали — не вспомнить, остались в памяти стуки Сережкиного сердца в ладони, не только руки — ноги противной дрожью охватило. Перед деревней километра за три большое гороховое поле на взлобке, внизу река. Туда и свернул Басков с проселка. Отъехал, заглушил технику:

— Посидим, остынем...

«Остынем ли...» — подумала, а за руку взял — пошла.

Фиолетовое солнце падало из-за Сережкиной разлохмаченной головы с неба прямо в траву и в глаза Лизе, но ничего она уже не замечала, кроме Сережкиных глаз, которые были больше солнца, больше неба.

«Знала бы, где ложиться буду — загодя бы крапивы припасла, опомниться чтобы вовремя», — потом уже грустно пошутит Лиза, а пока она сидела после всего, уткнув голову в колени, а Сережка рядышком полулежал и жадно курил.

— Что же, Лизанька, так-то... Сказала бы, ни с кем и никогда... Не тронул бы...

Молча встала и пошла, не оглядываясь. Догнал.

— Зачем пешком? Довезу.

— Спасибо, накаталась уже. Будет...

Матери дома повинилась сразу. Старая Гапка заохала, запричитала:

— Не ладно, девонька... У мужика баба, дети — на порог не пущу кобеля, чтоб ему...

— Не говори ничего, мама, ни ему, ни о нем никому другому. Худо мне, — весь вечер проревела Лиза.

Утром на работу пошла — поотлегло. В клуб ходить перестала, с работы — сразу домой.

— Как подменили, — расстраивалась мать. — Вот оно — лихонько...

Сережка же искал встреч, даже на заправку приезжал — заправщиком Лиза работала: заполняла накладные, какой механизатор сколько топлива взял. Не вышла, механика послала — рядом оказался:

— Скажи ему — ни видеть, ни слышать не хочу.

Лето укатилось. Сережка уехал.

«По-другому и быть не могло», — думала Лиза. И только ночами ей снилось фиолетовое солнце, которое сквозь раст-

репанную Сережкину шевелюру слепило ей глаза, отнимало волю, разум, заставляло жить чувством, пусть мимолетным, но не просчитанным вперед, как того хотелось.

Снова Сережка посетил деревню в ноябрьские праздники. По селу слухи вперед человека ходят — мать письмо послала тайное, чтоб жена не увидела: «Заправщица Лизка с брюхом ходит. В деревне все говорят — твой грех. Не знаю, как людям в глаза смотреть... Что же ты наделал, сынок?»

Распили дома с отцом бутылку горькой. Сережка взялся за шубу.

— К ней? — спросил отец.

— К ней, батя.

Покачал отец головой, но не сказал более ни слова. Дверь открыла мать Лизы.

— Проходи, сокол, дай хоть погляжу на тебя, на лиходея-лихача...

— Мама, оставь нас... — попросила Лиза.

— За тобой приехал, Лизонька. В городе лучше будет — комнату подыскал у одной старушки... — начал Сережка.

— В качестве кого я буду в твоём городе?

— Люблю я тебя, Лиза. Ну хочешь, здесь останусь...

— погоди, а если встретишь еще кого-нибудь, так же легко бросишь и меня, как свою жену?

— Лиза, зачем ты так? Лиза...

Не стерпела старая, вышла к молодым:

— Дайте сказать старухе, мне на шестой десяток — и такого сраму я не стерплю, ишь, чего удумали. Не дело сказываешь, мил человек, родных детей оставлять не след. Ты своим парням скоро нужнее матки будешь.

— А ему, — указал Сережка на Лизин живот, — по-вашему, не нужен буду?

— Жалко Лизу. Поспешили вы с этим делом, вот и насмешили людей... А жена твоя как?

— Не живем с ней. На развод подала, как узнала. Да и не скрывал я. Заявление написал бухгалтеру, чтобы на детей высчитывали треть, чемодан собрал — и в общежитие.

— Решайся, Лиза, поехали...

— Нет, Сереженька, не поеду. Ни здесь, ни там — ничего у нас с тобой не будет больше... Сон только остался — солнце в траве. А ребенка родить сперва надо, да и не скоро еще.

Уехал Сережка ни с чем.

Родила Лиза девочку: с лица вся — мама, волосы Сережкины — кудрявые, пепельные, как легкое облачко.

Полгода было девочке, когда мать ее полоскала белье

на реке, да и сорвалась в полынью... Холодно было. Еле выбралась, насили до дому добрела.

Неделю всего и пожила после. Был на похоронах и Сережка. Бился головой в мерзлую землю, в кровь весь лоб разбил:

— Не поехала со мной... Не послушалась...

Агриппина сильно переживала, винила себя, что отговаривала от города — глядишь, и живая была бы дочка.

Внучку Люсеньку не отдала, хоть и уговаривал ее Сережка.

— Вместо дочки подниму, — говорила.

Сережкины родители помогали Гапке, чем могли.

* * *

С работы Сергей Павлович любит ходить не спеша, постоянно одной — хотя и не самой короткой — дорогой. Здоровается кивком головы со встречаемыми знакомыми, рассматривает каждый раз те же дома, скамеечки под кленами, на которых можно посидеть отдохнуть, и всегда на привычном месте замечает, обнаруживает что-нибудь да новое, на что раньше и внимания не обращал.

Возле дома прогуливалась жена с коляской. Третьего она родила — тоже мальчика. «Старший уроки учит, раз не видно на улице», — подумал Сергей. А средний и Люся мчались наперегонки к нему навстречу и кричали:

— Папка! Наш папка идет!

ПРИСНИЛИСЬ ЛЕСНЫЕ СТРАСТИ...

Ельник неожиданно оборвался низкорослым, чахлым, но густым до непроходимости кустарником. Валентин, излазивший всю лесную близлежащую округу, никак не мог сообразить, где он находится. Над кустарником загадочно покачивался туман, но что самое удивительное, Валентин совершенно не чувствовал никаких запахов, чего с ним раньше в лесу никогда не бывало, произвольно начал ощущать страх. Изгородь возникла перед ним неожиданно.

— По виду — недели две назад поставлена, не боле. Что-то же она огораживает, — подумал и пошел вдоль по ней. Страх улетучился, удивление не проходило.

Стало еще темнее, дорогу он не увидел, а почувствовал ногами. И прямо на дороге, по ту сторону изгороди, в которой был проем, заметил женщину:

— Послушайте! — обратился, но она исчезла, словно испарилась.



Валентин направился к тому месту, где заметил незнакомку.

— Надо же выяснить, где я...

Минуя проем, Валентин запнулся и упал:

— Чертов краж...

Чертыхнулся и неизвестно зачем стал отпихивать в сторону лежащее поперек дороги бревно.

Когда он начал уже спихивать бревно, упершись ногами в землю, а плечом в торец, почувствовал, что на него кто-то смотрит. Не отрываясь от своего занятия, он повернул голову назад и увидел старуху. Дряблое иссеченное морщинами лицо, широкий тупой нос, неестественно большой рот. Руки — страшные, большие, грязные, с налипшими землей и червями — она тянула к его шее. Но страшнее всего был ее взгляд. От него у Валентина заledenело тело и дыбом встали волосы.

— А-а-а-а-!!! — испустил он дикий, истощный вопль.

«Валя, Валя, проснись!...» Валентин открыл глаза и увидел милое и родное, испуганное лицо жены. «Кричишь, дочку с ума сведешь...»

Валентин встал, вышел на кухню, закурил.

— Смерть, вроде, видел,— сказал вышедшей следом за ним жене.— Пять лет в городе живем, леса не выдаю, а приснились лесные страсти...

Возможно, он скоро забыл бы свой сон и никогда его не вспомнил, если бы позднее с ним не начали твориться странности, которые он суеверно свел в систему и связал с этим так напугавшим его сном.

Первое, что он припоминал теперь,— инцидент в очереди за водкой. Шустрый подпитой мужичонка пытался без очереди пролезть к прилавку. Валентин его осадил:

— Постоишь, как все...

Да где там, проныра все равно пробрался, да вдобавок еще и нагрубил. Потом же, выбираясь из очереди, оступись на ровном месте и разбил с таким шумом приобретенное сокровище. Сидел и размазывал слезы по щекам, глядя на осколки.

— Так и надо,— злорадно подумал Валентин.

Следующий казус произошел на работе. Мастер незаслуженно оскорбил Валентина и на следующий день не вышел на работу — оказалось, сломал ногу.

Казалось бы, мелочи, случайные совпадения, но дальше — больше: повздорили с соседом — у того в квартире случился пожар, нагрубил продавец — ее посадили, проворовалась.

Жену свою Валентин очень любил, и когда понял, что всякого, кто груб с ним, ждет расплата, испугался за нее — Зойка была женщина горячая, на слова обидные скорая. Стал он с ней ласков не в меру, только бы не разгневать. Зойку удивили перемены в поведении мужа, но она радовалась молча — боялась сглазить.

Пить, курить — вообще бросил, домой ходить стал вовремя, помогал во всех домашних делах, особенно любил заниматься с дочкой, Диночкой. Прямо все поведать жене Валентин тоже не решался — подумает еще, что свихнулся...

Может, так и прожили бы потихоньку, да кто ж не знает женщину: дай волю — на голову залезет и еще указывать будет — и сидится-то ей плохо, и везешь медленно, напридумывает, лишь бы мужик не ерепенился.

Пришла как-то Зойка с работы психованная, ну и показала бочку на мужа. Валентин ее чисто по-человечески понимал — надо бабе выраться, но и боялся за нее, потому просто ушел молча на улицу. «Пусть остынет», — подумал.

Ночью пришлось вызвать «скорую», прихватил Зойку аппендицит. Пролежала больше месяца — шов гноился, не заживал, трижды резали. Больше рисковать женой Валентин не хотел, считал, что права на это не имеет.

Подавал тайком заявление на расчет, отработал две недели, выписался из квартиры — и уехал, оставив на столе деньги, которые снял со своей книжки — все четыре тысячи — и письмо: «Зоенька, мне нужно срочно уехать. Дурного ничего не думай. В розыск не подавай — всем нам может быть хуже. Поцелуй Дину.» Подумал немного и дописал: «Когда вернусь — точно не знаю».

Сел в первый попавшийся поезд и покатил куда глаза глядят. Подумывал — петлю на шею, приготовил уже, да в последний момент будто кто за шиворот схватил: не смей!

— Ладно уж, заеду куда-нибудь в глухомань, где одни вороны, чтобы никому от меня вреда не было.

Добрался. Ехать дальше некуда — кругом тайга. Председатель обрадовался: нам люди нужны. Смотрел трудовую и уговаривал:

— Токаря нету, а у тебя — пятый разряд!

Уперся Валентин. Тогда и предложил ему председатель идти к Матвею-отшельнику в помощники: стар он стал, давно помощника просит. Матвея называли по-разному: дед, философ, пастух — кто как. Жил он в заброшенной деревушке один, пас телят-откормочников.

— Летом тута благодать, паря, — говорил он Валентину. — Зимой хуже... Ну, да зимой ты можешь и в селе

жить, здесь все одно делать нечего — теляток не будет. А весной новых пригонят...

До боли родного кого-то напоминал Валентину дед Матвей. Потом уж сообразил: это же я сам! От себя к себе приехал.

А дед как мысли читал:

— От себя не убежишь, милок, от людей хоронятся, разве, злыдни да убивцы, а у тебя, замечаю, душа чистая, хоть и прячешься от народу.

Поведал Валентин старику всю свою жизнь, как бремя скинул.

— Что зла другим не хочешь, шибко доброе дело. Что добро с кулаком не принимаешь — еще лучше. Поезжай домой, ждут тебя, а беды людские — не от тебя, от самих себя...

— Не могу, дед... Как вспомню лицо жены на белой подушке, круги черные под глазами, взгляд жалобный... Не могу...

— Ну, поживи ишо, времечко все уладит, — качая головой, соглашался Матвей.

Лето незаметно отжили — в труде скучать некогда было.

К осени работы прибавилось: телята, которые с весны ходили кучно, освоились, стали разбредаться широко. Беготни Валентину хватало. С грустью он думал, как тяжело бы пришлось деду, не будь его, Валентина.

Только сдали гурт, Валентин занялся копать у старика картошку. Матвей и сам хотел, да Валентин не позволил — сентябрь выдался прохладным и дождливым, боялся — простынет дед.

Шибко глянулся Матвею постоялец, чувствовал старик — расставаться с Валентином будет жалко.

Развязка наступила сама собой. Снега подвыпало — в сидячую собаку. По воскресенью пришел с села трактор с санями — то ли домишку, то ли баньку перевозить в село наладились.

Тракторист опохмеленный был крепко, ну и зацепил у деда огород. Выскочил Валентин, заглушил трактор. Водитель за монтажку. Осердился Валентин, отобрал у сопляка ломик, да еще и под зад напинал для ускорения. После спохватился — переживал, не спал всю ночь: вдруг да с парнем случится что...

Но парнишка заявился назавтра как ни в чем не бывало.

Подбежал к нему Валентин, давай ощупывать — цел? Не упал нигде? Не ушибся? Не болит где-нибудь, все в порядке?

Отпрыгнул от Валентина тракторист, как от прокаженного:

— Точно про тебя слух прошел — придурок... Эй, дед, заberi дурака, работать не дает.

Но Валентин уже сам забежал в избу, схватил Матвея на руки — и прыгал, кружился:

— Ничего, с ним ничего! — тыкался носом в бороду и шею деда.

Выскочил потом на крыльцо и крикнул:

— Ура! Я свободен! Можно жить!

Качал головой озадаченный тракторист: точно свихнулся, вконец обезумел...

На следующий день Валентин прощался с дедом:

— Матвей Иванович, если позволишь — всей семьей в гости приедем!

— Ждать буду, милок, как родного сына...

Расчет Валентину оформили быстро, к вечеру он уже катил в обратный путь.



ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ

Человек трудной и интересной судьбы. Много путешествовал по стране, много читал и размышлял над жизнью. В основу рассказа «Волчья охота» положены подлинные события в Хабаровском крае.

В настоящее время трудится слесарем в теплоремонтном цехе 23 ГПЗ. Был участником ликвидации последствий Чернобыльской трагедии. Большой друг редакции газеты «Вологодский подшивник». Печатается также в областных газетах и журнале МВД СССР «К новой жизни».

ВОЛЧЬЯ ОХОТА

Враждебная в этот поздний час, в белесой дымке, остекленелая тайга глухой стеной вздымалась по обе стороны зимника. Почти осязаемая тишина нарушалась скрипом высушенного стужей снега под унтами да резкими, как удар бича, выстрелами разрываемых морозом вековых лиственниц.

Клавдию, молодому фартовому золотишнику, все чаще приходилось тереть лицо жесткой тканью рукавицы. Только зазевайся в такой холод — и не заметишь, как нос прихватит белой блямбочкой. В тепле блямбочка проклюнется уродливой вишней, наполненной мутной жидкостью. Вишня со временем прорвется, а язва на этом месте будет заживать долго и болезненно, доставляя много неудобств золотоискателю.

Клавдий не забывал время от времени массировать самые уязвимые места — скулы и нос. Но старателю даже такой сильный мороз нипочем. Опыт подсказывал, что первое спасение от стужи — движение. Чем сильнее мороз, тем быстрее надо двигаться.

По набитому лошадиными копытами и санями зимнику идти было легко. В согласованном движении рук и ног, ритмичном дыхании, поскрипывании снега Клавдий находил



свое, понятное ему, удовольствие. Старателю, привычному к дальним переходам в поисках золотых россыпей в жару и стужу, по буреломам и марям, по нехоженной тайге, прогулка в двадцать верст была развлечением.

У двадцатипятилетнего старателя, полного горячей крови и нерастраченных сил, в поселке, куда появилась настоятельная необходимость попасть, было два важных дела. Первое — сдать в контору золотой песок, намытый за последнее время. Сейчас, правда, поздно: сдаст завтра. Другое, не менее ответственное дело, представлялось Клавдию в виде жарких объятий Лушки. «Хохлушка-хохотушка», как ласково называл ее старатель, не раз привечала фартового парня с прииска, который золото удачливо искал и любить умел, как никто другой.

Специально сшитый для ношения золота кожаный мешочек с четырьмя фунтами грязно-коричневого песка был намертво завязан и надежно присупонен к телу так, чтобы не мешал при движении и не сильно выделялся под одеждой. Клавдий не боялся, что лихие люди умышлят ночью в непогоду ограбить его. Такого не бывало в здешних местах со времен хунхузов. Все немногочисленные оседлые жители и старатели с прииска были настоящие таежники. Они знали: кто переступит неписанный, но неукоснительно соблюдаемый закон тайги, подлежит уничтожению, как бешеный пес. Горе тем, кто разорит лабаз или охотничью заимку в тайге. От таежного охотника не скрыться ни в дебрях, ни в буреломмах, ни в гиблых марях. Возмездие настигнет неотвратимо. Виновные бесследно исчезали, а судьбой пришедших людей, осквернивших тайгу, никто никогда не интересовался. Редко, правда, но золотоискатели тоже пропадали в тайге, особенно после фартового сезона. Обычно людская молва списывала несчастье на мороз, водку, зверя...

По расчетам Клавдия, минут через десять должен показаться егерский дом золотопромышленника Хрюкина. После установления Советской власти на Дальнем Востоке миллионщик Хрюкин исчез, а дом отписали за егерем Хрюкина — Савватием, который к тому времени занимался извозом в одной из госартелей.

Этот огромный, цыганистого вида из-за своей черной бороды мужик славился в округе страшной физической силой. Будучи в услужении у Хрюкина, Савватий для развлечения миллионщика ходил на медведя, как гладиатор, с одним ножом. Ни разу медведю не удалось подмять охотника под себя. Ни у кого не находилось ни сил, ни желания держать в объятиях смертельно раненного зверя. А способ

был до примитивности прост. Дождавшись, когда медведь, поднятый из берлоги в ярости, встает на задние лапы, Савватий бросался к зверю, прижимался к нему вплотную и всаживал под левую лапу нож. Повернув его в туше, Савватий ждал смерти хищника. После, свежую тушу, все могли убедиться в силе и точности руки егеря: на сердце неизменно виден был надрез, похожий на латинскую букву С. После того, как медведь переставал в агонии рвать когтями спину егеря, защищенную курткой из бычьей кожи, и повисал на нем, роняя тягучую смертную слюну, Савватий, словно мешок с мукой, кидал его на землю, каждый раз коротко подытоживая: двадцать седьмой, тридцать пятый, пятьдесят четвертый...

Были у Савватия страшные минуты, когда его жизнь висела на волоске. Пятьдесят девятым оказался медведь с белой манишкой на груди. Этих небольших по величине, но страшно свирепых медведей называют гималайскими, хотя от дальневосточной тайги до Гималайских гор лежит огромное расстояние. На сей раз Савватия подвел нож, до этого безотказно служивший ему. Лезвие из вликолепной стали, на котором не оставалось зазубрин при рубке гвоздей (был такой случай с егерем в крепком подпитии), сломалось, едва задев ребра медведя, словно оно было стеклянное. Он остался с жалким обломком металла в руке против разъяренного легкой раной зверя. Спасаясь, Савватий сдвинул медведя со всей своей нечеловеческой силой. Но как ни силен был егерь, его физические возможности были ничто по сравнению со зверем, выросшим в дикой природе, где сила, скорость, выносливость были необходимым условием существования. Тот небольшой выигрыш во времени, который дал Савватий своей недюжиной силой, позволили Хрюкину сунуть в пасть зверя ствол ружья и нажать курок. Ружье было заряжено жаканом с усиленным зарядом пороха. Выстрел наполовину снес череп медведя, предотвратив, казалось бы, неминуемую гибель охотника. Этот случай заставил егеря быть осторожнее, но охоту на медведя он не прекратил.

Неторопливый ход мыслей прервался неясным движением чего-то темного, промелькнувшего на фоне белого снега, у самой кромки тайги. Клавдий присмотрелся. Ничего не заметив в быстро наступающих сумерках, зашагал дальше.

— Померещилось,— отмахнулся старатель, стараясь поймать утерянный ритм шага.

Снова неясная тень мелькнула чуть впереди, слева. Ноги в собачьих унтах мгновенно замерзли, а спина, наоборот,

покрылась испариной. Клавдий понял, что за тени мелькают у подножья тайги. Он не мог, не хотел признать в бесшумных, призрачных силуэтах то, что может оказаться смертельной опасностью через мгновение. Он еще надеялся на какое-то чудо, которое развеяло бы это наваждение. Клавдий знал про случаи нападения волков на людей, но человек так устроен, что надеется: такое может случиться с кем угодно, только не с ним.

Как бы вопреки всем его надеждам, совсем рядом раздался изводящий душу вой. Зверь начинал один, словно запевала в хоре, старательно выводить волчьи рулады. Вторя запевале, вступал другой, затем третий, четвертый... Через минуту несколько голосов во всю мощь волчьих глоток проклинали свою жизнь, голод, холод на многие поколения вперед.

Не по себе становилось от тягучего, заполняющего все пространство воя, постепенно переходящего из высокой октавы в басовитое гудение. С новым глотком воздуха жуткая мелодия повторялась, словно заезженная пластинка, поставленная на граммофон злыми духами среди безлюдной тайги.

Оглянувшись, Клавдий отчетливо увидел две пары фосфоресцирующих зеленым светом глаз. Будто четыре фонарика, они попарно зажигались и гасли то в одном, то в другом месте. Назад хода не было.

— Волки,— наконец безнадежно вслух произнес Клавдий.— Это не грабители, от них золотом не откупишься,— с горечью признал старатель, животом ощущая тугость набитого мешочка.— Черт меня дернул идти на ночь глядя. Не мог утром поехать вместе со всеми. Бабы ему захотелось. Сейчас будет тебе баба...— запоздало, с каким-то остервенением ругал себя последними словами Клавдий.

Как ни странно, эта злость встряхнула и вывела золотискателя из того состояния, при котором теряется способность к сопротивлению.

Стая, по всем правилам волчьей стратегии, закончила окружение и начала постепенно стягивать петлю, в центре которой был человек. Предчувствуя скорую развязку, волки перестали выть, и наступившая тишина еще сильнее подчеркивала трагизм положения молодого парня.

— Волки собираются для охоты в стаю при наступлении особо тяжелого периода их жизни. Холод, отсутствие пищи заставляют их объединить усилия, чтобы сохранить жизнь.

В такое время они кровожадны и свирепы, как никогда,— рассуждал меж тем Клавдий.— Значит, и пощады не будет. Помощи в такое время ждать неоткуда. Надо надеяться только на себя. Не показать страха и не побежать.

Убегающая добыча только подхлестнет их охотничий инстинкт. Идти так же, как шел, — приказал себе старатель. — Волк зверь жестокий, умный. Если почувствует страх — ничто не спасет, — лихорадочно думал Клавдий. — Любой ценой добраться до дома егеря...

По расчетам Клавдия, дом был рядом. Все это время, не сбавляя шага, он двигался по дороге. Неожиданно вынырнула из тайги черная громада егерского дома. До него оставалось не более двухсот шагов. Матерый волк в сопровождении двух молодых, трусивший впереди Клавдия все время, пока остальные отрезали все пути к спасению, круто развернулся и сел на дорогу мордой к Клавдию. Чуть сзади уселись два других. Звери были крупные, но исхудавшие до той степени, что их бока были похожи на стиральные доски, обтянутые шкурами. Мертвый свет луны и небольшое расстояние позволяли рассмотреть волчий авангард. Извечный страх перед человеком гнал волков с дороги, заставлял уступить невзрачному существу на двух ногах. Голод же диктовал другое. В иное, более сытное время, вожак не встал бы на пути человека и увел бы стаю прочь. Но длительная голодовка довела волков до крайней степени истощения. Вопрос был жизни и смерти. Клавдий четко различал три выделяющихся на снегу силуэта. Горящие глаза жутко светились, гипнотизируя Клавдия, парализуя и отнимая волю. Золотоискателя со всех сторон окружали стальные челюсти и могучие желудки, способные вместить огромное количество пищи.

«Что от меня останется, если коня они разорвали в считанные минуты?» — память услужливо воскресила двухлетней давности трагедию, разыгравшуюся в тайге. Человек в тот раз, благодаря счастливой случайности, остался жив. А от коня осталось всего несколько кровавых пятен на снегу, да остатки сбруи: ни копыт, ни костей... Все исчезло в прогнувшихся донизу волчьих животах. Даже окровавленный снег был выгрызен острыми, как бритва, зубами.

Расстояние между Клавдием и волчьим заслоном неумолимо сокращалось.

— Жить останусь, если заставлю вожака сойти с дороги, — загадал Клавдий, и это придало ему немного уверенности. Он слышал от опытных охотников, что зверь не выносит взгляда человеческих глаз и уступает воле человека. Что ж, иного выхода у Клавдия не было... Он шел «ва-банк». Ставкой была его собственная жизнь, а единственным козырем — выдержка и воля. Человеческой воле противостоял инстинкт зверя, доведенного до той черты, за которой он

видит в человеке только мясо. Дальнейшее врезалось в память с какой-то стенографической последовательностью... До волков десять метров. Вожак приподнял тощий зад. Как по команде встали два других зверя. Ворчание, переходящее в захлебывающийся рык. Светящиеся глаза, полные неистребимой ярости и бессильной злобы.

...Четыре метра!

Вздыбленные загривки, приподнятая верхняя губа, обнажившая огромные клыки. Обостренное опасностью сознание отметило никак не вязавшийся с их страшным видом хвост, опущенный вниз и зажатый между задних ног, как у трусливой собаки.

...Три метра!..

В поле зрения один вожак, сморщенная губа, приоткрывающая ряд белоснежных зубов, сверкающие глаза, налитые злобой и тоской одновременно. От напряжения глаза Клавдия начала заливать слеза. Звери стали расплываться.

...Два метра!

Ощетинившиеся твари у самых ног.

— Все, это конец, — мелькнула мысль, прежде чем волчья троица с каким-то щенячьим визгом отпрыгнула в сторону, освобождая путь человеку.

Зверь признал за человеком победу. Клавдий прошел размеренно совсем рядом с волками, сдерживая себя от неудержимого желания бежать. То, что он своей волей заставил волков сойти с дороги, совсем не значило окончательного спасения. Взгляд нескольких пар алчных глаз физически ощущал на себе Клавдий. Вся стая смотрела в спину человека, быстро удалявшегося в сторону жилья.

Удалялось горячее мясо, сулящее приятную тяжесть в животе, а значит, и жизнь на ближайшее время. И эту пищу вожак пропустил, не сделав того, что предназначено ему инстинктом. Опять раздался вой. Тоска и безысходность рвалась из глоток, схваченных голодной спазмой. Клавдий стучал в ворота, когда слышались возня, рычанье и предсмертный хрип. Кого-то из волчьих сородичей принесли в жертву во имя жизни остальной стаи. Возможно, это был вожак.

На самом деле, или Клавдию показалось, но стучать в ворота пришлось долго. На цепи, давясь от злобы, бесновался лохматый пес неопределенной породы. Слух подсказал псу, что стая уходит и можно предъявлять свои права бдительного сторожа.

— Что же ты раньше молчал? — с горечью, тихо проговорил Клавдий, чувствуя, как невероятная тяжесть пере-

житого наваливается на него. Нервная зевота сводила челюсти. Это была запоздавшая реакция организма, перенесшего сильнейшее потрясение. Наконец, древняя на вид старуха, в катанках и накинута на плечи облезлой шубе, придерживав захлебывавшуюся от лая собаку, пропустила Клавдия в дом. Только тут, в безопасности, он безразлично удивился тому, как это ему удалось выйти невредимым из такой передыжки. По-другому удивляться у него не было сил.

Бабка при свете лампы выглядела еще старее, но двигалась по дому шустро, перебирая ногами в самодельных пимах. Лет восемьдесят, не меньше, определил Клавдий.

Старуха сновала из горницы в закуток, за печку и обратно, собирая нехитрый ужин.

— Второй дён окоянного нетути. Запропал. Провалился, и-их. А тут ходят ночами всякие. Покоя нет,— негромко, но отчетливо ворчала хозяйка.

— Кого ругаешь, бабушка? — спросил Клавдий, стараясь отвлечься от картин пережитого, непроизвольно вспыхивающих в его сознании.

— Савватия ругаю. Сына свою. Как уехал на Рыжке, так и пропал. Рыжка — конь наш,— нашла нужным пояснить старуха.— Подрядился золотишника в город везти. Загулял небось там, окоянный.

— Сколько лет тебе, бабушка? — полюбопытствовал старатель.

— С Покрова сто семьей пошел. И-их, зажила на этом свете. Пора на погост, спаси, Господи, царица небесная,— скороговоркой шамкала старуха беззубым ртом, забираясь на широкую русскую печку. Она еще долго жаловалась на «окоянного», холод, больные ноги и другие старческие невзгоды.

— Ого, сто шесть лет! — вяло подумал Клавдий, садясь за стол.

После пережитого кусок хлеба застревал в горле, и, чтобы протолкнуть его, требовалось значительное усилие. Немного перекусив, Клавдий приладил под голову фуфайку и улегся на добела выскобленную лавку, покрытую медвежьей шкурой.

Прежде чем задуть лампу, Клавдий огляделся. Убранство дома почти сплошь состояло из даров тайги. По медвежьим шкурам, лосиным рогам можно было безошибочно определить, что в этом доме живет охотник. На полу, стенах, сундуках, лавках,— везде висели, лежали звериные шкуры. Вместо вешалки торчали рога сохатого. Клавдий насчитал в плохом свете лампы семь ветвей. Таких ему еще не приходилось видеть, хотя не раз в тайге Клавдий находил

сброшенные лосем рога. Но чтобы семь ветвей! Сильный, красивый, видимо, был зверь, обладатель этих рогов.

Незаметно усталость взяла свое. Клавдий уснул. Молодой организм быстро восстанавливал силы.

Сколько проспал старатель, определить было трудно. Разбудил его грохот, доносившийся с улицы. Били в ворота чем-то тяжелым, словно хотели сломать их. Собачьего лая, на удивление, слышно не было. Сквозь ставни неслось:

— Открывай, старая. Померла, что ли?

Голос был низкий и мощный. Такой голос был у дьякона в их вологодской деревне много лет назад. Когда шла служба и дьякон запевал, в груди что-то начинало дребезжать. Клавдий от этого начинал плакать, и его уводили из церкви. Такие, не очень приятные, воспоминания из детской жизни вызвал этот голос.

— Сам приехал, Савватий,— старуху будто смахнуло с печи. Она бросилась из дома, едва набросив шубу. Смутное беспокойство закралось в душу Клавдия. Есть такое свойство человека предчувствовать приближающуюся опасность заранее, когда вроде бы ничего не предвещает ее. От пинка ногой будто от лошадиного копыта распахнулась тяжелая, излаженная из листвяка дверь. Клавдий чуть приоткрыл глаза. В дверном проеме, пригнув голову, стоял огромного роста и могучего телосложения мужик.

Медвежья доха, распахнутая на груди, увеличивала без того внушительные размеры стоящего в дверях колосса. На лице, почти до глаз заросшем черным курчавым волосом, диковато сверкали белки глаз. На ногах были унты, перетянутые на ступнях ремешками.

«Так вот ты какой, Савватий, знаменитый егерь Хрюкина, удачливый медвежатник»,— Клавдий наблюдал из-под опущенных век. Сердце забилося, разгоняя сонную кровь.

— Где постоялец? — прогремел Савватий.

Старуха успела сообщить о спящем золотоискателе. Стало понятно, что она не смела и шагу ступить без ведома сына. «Подниматься не буду. Пусть думает, что сильно устал и крепко сплю»,— решил Клавдий, стараясь дышать ровно.

— Вставай, бедолага, будем водку пить,— приказал егерь и тряхнул так, что у Клавдия лязгнули зубы. После такой побудки притворяться спящим было невозможно. Клавдий сел на лавке, потягиваясь и зевая, всем видом показывая, что этот гориллоподобный человек в дохе часть только что виденного сна.

Меж тем Савватий, нисколько не сомневаясь в том, что постоялец жаждет разделить с ним трапезу и выпивку,

выгружал из карманов необъятной дохи нужные для этого срочного застолья припасы. На столе появился круг домашней колбасы, замороженной до деревянного состояния. В центр поставил бутылку коммерческой водки. Из ножен извлек внушительных размеров нож, который зловеще блеснул полировкой при зыбком свете керосиновой лампы.

— Ночью волки шалили. На дороге кровь видна. Не твою собачку задрали? — нарезая колбасу, обратился к Клавдию «цыган» (так его про себя окрестил старатель).

Клавдий коротко, без подробностей, рассказал о вчерашнем, о том, кого задрали волки на дороге.

Савватий не поверил рассказанному.

— Врешь, однако, золотишник. Не мог ты уйтить от волка. Шибко голодно нонче в тайге, и если окружают кого — непременно задерут. Не бывало такого, чтобы человек без ружья да без собаки живым остался. Ну да ладно. Бог тебе судья. Пей, богомолец, — подвинул Клавдию полный стакан водки. Было заметно, что Савватий принял какое-то решение. Егерь в дохе горой возвышался над столом, требовательно сверля старателя колючим взглядом. Он наколол на лезвие кружок колбасы и ждал, когда Клавдий выпьет.

«Не отвертеться, надо пить. И что за напасть такая? Все одно к одному. Вечером волки чуть не разодрали. Сейчас неизвестно что цыган задумал. Ишь взгляд какой! Хуже, чем у волка...» — Клавдий выпил водку и снял зубами кругляк колбасы, который сунул ему на кончике ножа Савватий.

Мурашки побежали по коже Клавдия. От водки, выпитой натошак, а может, от такого необычного способа закуски.

Хорошего от этой встречи Клавдий уже не ожидал. Ему ничего не оставалось делать, как ждать дальнейшего развития ночной эпопеи. Хозяин в один глоток опорожнил стакан и, не закусывая, приступил к расспросам. Вопросы были самые разные: откуда и с кем шел, зачем шел, кто знает об этом и так далее, до мельчайших подробностей. Егерь обнаружил неплохое знание дел на приiske и в поселке.

Клавдий, как мог, удовлетворил его любопытство, умолчав, однако, о заветном мешочке за пазухой. Савватий же не впервые видел золотоискателей. Знал их поведение после фарта досконально. Знал, что после удачливого сезона старатель по пьяной лавочке может проболтаться о золотоносном ручье где-нибудь в глухом распадке. Знал также, что в небольшом подпитии старатель становится вдвойне осторожен и подозрителен.

«Золотишко несет, — определил Савватий. — Меня не ом-

манешь. Ишь как зевает. Спать хочет. Ужо выпишься вдоволь», — злорадствовал про себя он.

Бывший егерь Хрюкина был одним из тех черных душой людей, которые, прикрываясь каким-нибудь безобидным занятием, охотились на золотоискателей. Официально занимаясь извозом, он все время колесил по тайге. Это обеспечивало Савватию много встреч на дорогах богатой золотом тайги.

В случаях, если Савватий был уверен, что его не уличат в преступлении, он убивал ничего не подозревавшего золотоискателя и забирал с огромным трудом намытое золото.

Трупы Савватий прятал с иезуитской хитростью. Он находил свежеповаленный бурей кедр и прятал труп в яму под корни. После этого егерь перепиливал, для чего с ним всегда была ручная пила, дерево около комля. В силу того, что у лежащего дерева часть корней остается в земле, комель, лишившись своего ствола, встает на свое место, надежно скрывая главную улику преступления. Савватий не без оснований рассчитал, что никому в голову не придет искать пропавшего человека под корнями пней, тем более пней в необъятной тайге было более чем достаточно.

Такие люди, как егерь, чужды обществу и тайге, где были свои, выработанные самой жизнью законы. Рано или поздно, но Савватий должен будет ответить за все свои темные дела. Пока же немало золота перекочевало из холодеющих пазух таежных старателей в тайники, месторасположение которых было известно только одному человеку на земле — Савватию.

Иногда по ночам перед ним шеренгой вставали загубленные золотоискатели. Страх за содеянное закрадывался в душу. Савватий до утра ворочался, мучаясь картинами кровавых сцен, но тяжесть очередного мешочка золота покрывала все угрызения совести, если остатки таковой еще имелись в его темной душе.

— Ехаем. Довезу до поселка. Коня не распрягал ишо, — решительно приказал, поднимаясь из-за стола, Савватий.

Клавдий попробовал было отнекаться. Мол, конь уставший, да с рассветом сам уйду. Но егерь, не слушая, пророкотал:

— Собирайся. Ехаем.

Весь его вид не допускал никаких возражений. Клавдий не спеша начал собираться, лихорадочно прикидывая, что предпримет егерь дальше. Выиграть время до рассвета. Когда рассветет и появятся люди на дороге, Савватий не посмеет сделать ему ничего дурного. Завернувшись в шкуру, Клавдий пристроился на сене за широкой спиной егеря.

На востоке посерел краешек неба, предвестник нового дня. Упитанный конь с места взял внамет.

«Увезет куда подальше от дороги, и прощай, «хохлушка-хохотушка», — не к месту вспомнилась поселковая любовь, из-за которой он, в конечном итоге, попадал во вторую переделку за одну ночь.

Савватий зорко поглядывал на него, как бы говоря:

«И не убежишь никуда. Какую тебе, паря».

Его глаза точнее слов говорили о намерениях. В глазах Клавдий прочитал безжалостный приговор себе.

Единственно, что не знал Клавдий, — это какая смерть ему уготована. То ли Савватий сдавит огромными лапищами горло, и Клавдий в последние секунды жизни будет молить бога о глотке воздуха. То ли применит нож, который в его руках казался игрушкой.

Пока они ехали по зимнику, у Клавдия еще была какая-то надежда на спасение. Но вот характер скрипа полозьев изменился. Сани свернули на дорогу, по которой не ездили по крайней мере с неделю. Полозья шли по снегу почти бесшумно.

— Эй, куда везешь? Поворачивай назад, — заколотил по спине ездока Клавдий. Савватий, не оборачиваясь, слегка повел рукой, от чего старатель едва не вывалился из саней. Клавдий почувствовал нечеловеческую силу егеря.

«С медведем схватывался. Со мной справится, как с котенком. Стукнет по голове кулаком, как кувалдой, и сунет в снег. Через пятнадцать минут я превращусь в мороженую чурку. Ни один смертный не сыщет меня здесь. А весной меня растащат звери», — думал Клавдий. Под ложечкой тупо заныло...

Конь замедлил бег, потом остановился у опушки рядом со стогом полусгнившего сена. По той уверенности, с какой вел себя Савватий, было видно, что место знакомо. Проваливаясь выше колена в снег, егерь подошел к небольшому сугробу и смахнул снег. Под снегом оказались три пня, образующих как бы стол и два стула. Из недр дохи, как и у себя дома, Савватий извлек бутылку водки и круг колбасы. Достав стакан, жестом указал Клавдию на пенек. Сам уселся напротив так, что малейшее движение Клавдия было в зоне его контроля. Без дохи от Савватия еще больше веяло той звериной силой, которая вмиг сокрушит, сметет с пути все, что мешает ему в достижении поставленной цели.

Клавдий, как в полусне, подчинялся приказам, подавлен-

ный волей убийцы. Теперь не было ни малейших сомнений, что перед ним сидит убийца.

— Выпьем с устатку. Поди замерз, золотишник?

Савватий резал колбасу, поглядывая на Клавдия тем оценивающим взглядом, каким осматривает рабочий скотину на бойне, прикидывая, куда всадить нож. В его тоне слышалась издевка, так как темнить в своих намерениях с Клавдием ему не было смысла. Савватий всем своим видом показывал, что пришла та минута, ради которой он ехал сюда, в безлюдное место.

Клавдий понял, что именно здесь решится его судьба. Увидит он Лукерью или останется лежать в снегу зарезанный, как баран на бойне? Савватий был полным хозяином положения.

— Да и кто будет решать? — неожиданно брезгливо подумал Клавдий. Волна злости вывела его из того угнетенного состояния, в котором он пребывал с момента встречи с Савватием.

Этот гориллоподобный «цыган», с заскорузлыми от грязи руками? Ну нет! Стая волков не разорвала, неужели сейчас дам безнаказанно убить себя? «Быть внимательным! Использовать к спасению малейший шанс», — приказал себе Клавдий. Организм его пришел в состояние боевой готовности. Руки обрели покинувшую было их силу, глаза стали зорче, слух стал острее.

Между тем егерь, раскрутив в бутылке содержимое, резким хлопком под донышко выбил пробку, не пролив ни капли спиртного. Налил полный стакан водки и кивнул на него Клавдию. Он уже не утруждал себя произношением слов, считая парня мертвецом.

Клавдий стал пить водку, не спуская глаз с огромной фигуры, преграждающей путь к саням. Как и прежде, Савватий наколот кусок на длинное лезвие и протянул колбасу ко рту Клавдия, предлагая закусить. Золотоискатель понимал, что достаточно небольшого движения руки вперед, и он со смертельной раной будет корчиться на снегу. Савватий в это время будет ждать, когда можно залезть под одежду трупа. Трясущимися — нет, не от страха перед свершенным, а от жадности — руками оторвать от коченеющего тела очередной мешочек золота. Клавдий потянулся к колбасе, делая вид, что хочет снять кружок с ножа зубами. Когда нож с колбасой оказался у самого лица, он неожиданно сдернул кусок рукой.

Глаза «цыгана» яростно сверкнули. Он подался вперед, будто хотел ударить Клавдия. Мгновение размышлял, хищно

раздувая ноздри. Решив, что золотишник все равно никуда от смерти не уйдет, налил водки себе.

Клавдий медленно жевал колбасу, мучительно думая, что предпримет в следующую минуту убийца.

С начала застолья, точнее «запенья», не было произнесено ни слова. Глаза красноречивее слов говорили о намерениях обоих.

«Убью, заберу золото, а труп спрячу так, что ни одна живая душа не сыщет. Опыта хватит. Вздумаешь сопротивляться — сверну шею, как куренку. Надеяться тебе не на что, золотишник, и будешь ты у меня пятым, кто пьет за этим столом», — говорили пронзительные, не знающие пощады, глаза Савватия.

«Врешь, собака. Приложу все силы и не дам убить себя. Буду зубами грызть твое поганое горло, но не сдамся», — отвечал настороженный взгляд Клавдия.

Если бы «цыган» вдруг предложил отдать золото и уматывать подобру-поздорову, Клавдий плюнул бы на бессонные ночи, натертые мозоли, полуголодное существование и каторжный труд. Он отдал бы заветные четыре фунта тяжелого песка, из-за которого честные становятся подлыми, благородные — мерзкими, женщины — проститутками, мужчины — убийцами.

Савватий не мог предложить такого, так как он не оставлял в живых свидетелей. Он не предлагал вместо жизни отдать кошелек. Савватий забирал кошелек и жизнь в придачу, зная, что, оставь хоть одного свидетеля, ему самому останется жить недолго. Он хорошо знал, как поступают с убийцами в этом таежном краю.

Савватий опрокинул в себя водку. Кадык дернулся, пропуская ее внутрь. Привычным движением он наколол кусок колбасы на лезвие ножа, собираясь закусить.

Савватий, пользовавшийся подлыми приемами, никогда не ждал их от других. Он не допускал мысли, что сидящий перед ним золотишник может ударить исподтишка.

По-другому думал Клавдий. Ему выбора не оставалось. Или погибнуть, или воспользоваться случаем, когда егерь допустит оплошность.

Егерь подает закусывать с ножа, и если он сам!.. «Только суметь вовремя и точно ударить», — билась мысль. Напряжение стало невыносимым.

Нервы Клавдия, натянутые, как струна, только что не издавали звука.

Савватий медленно, словно в руке у него находилась двухпудовая гиря, а не нож, понес закуску ко рту.

Верно говорят, что в моменты наивысшего напряжения духовных сил время как бы замедляет свое бег. Мозг Клавдия анализировал обстановку, мгновенно передавая изменения, высчитывал, оценивал, делал выводы.

В тот момент, когда зубы дотронулись до куска колбасы и Клавдию стал виден торец рукоятки, он резко ударил ногой по руке, держащей нож.

Клавдий увидел, как мелькнули ноги опрокинувшегося Савватия. Как очутился в саних и, нахлестывая коня, мчался по таежной дороге, он вспомнил с трудом. Стараясь скорее покинуть страшное место, старатель не думал, куда скачет. Опомился, когда показались столбы дыма из труб топящихся поутру печек. До поселка оставалось не более версты.

Завернув в молодняк и немного придя в себя, Клавдий распряг коня. Конь такое животное, что дорогу домой найдет сам.

В карманах дохи Савватия оказался офицерский револьвер-самовзвод с полным барабаном патронов. В другом кармане бутылка водки и плотно набитый мешочек с золотым песком.

— Около пяти фунтов,— прикинул Клавдий. Все! Теперь Савватий никого не сможет ограбить. Этот мешочек был последней добычей убийцы.

Револьвер полетел обратно в сани, а золото и водку Клавдий рассовал по карманам.

Он было направился в сторону поселка, как взгляд натолкнулся на хомут из желтой кожи.

«Пропадет»,— подумал Клавдий автоматически и, засунув его под корягу чуть в стороне от саней, быстрым шагом направился к поселку. Минут через двадцать он был к поселке.

* * *

Прошло несколько лет. Уполномоченный артели «Заготпушнина» Клавдий Иванович Тарханов по своим охотничьим делам должен был побывать на прииске «Амур», где у артели был приемный пункт. Когда-то в этих местах Клавдий Иванович мыл вручную золотой песок. Показался дом золотопромышленника Хрюкина. Клавдий Иванович отчетливо, со всеми подробностями, вспомнил ту страшную ночь, которая стояла ему седины в двадцать пять лет отроду. С той памятной ночи Клавдий Иванович перешел на охотничьи дела, отпустил усы и бороду. Трудно было узнать в этом лысоватом представительном мужчине молодца, бегавшего за двадцать верст к Лукерье.

Клавдий Иванович чуть не ахнул, когда в согнутой старушке, греющейся на крыльце, он узнал мать Савватия.

— Тогда ей было 106, сейчас 114 лет! — быстро подсчитал охотник. Он решил напоить коня и передохнуть с полчаса. Свернув козью ножку, Клавдий исподволь начал расспрашивать о жите-быте, подводя разговор к той ночи, восемь лет назад.

— Давно одна живешь, бабушка?

— Давно, батюшко, давно. Сам-то помер годов двадцать назад. Медведь помял его. Он и прожил после этого недолго. Хорошо помер. В одночасье. Хороший хозяин был, строгий. У Хрюкина в услужении егерем был. Потом сынок сменил его — Савватий. Да только и Савватий сгинул, а весь в хозяина был. Не спроводилось мне с мужиками. А я зажила. Давно живу, уж и не знаю, сколько годов. Спуталось все...

— Куда же сын делся? — направил в нужную сторону разговор Клавдий.

— Годов пять назад повез золотишника до поселка. Его волки чуть не задрали ночью. В ту зиму они шебуршились шибко. Как уехал, так и не вернулся. Рыжка, конь наш, пришел без саней, а Савватий — нет. Сгинул. Да бог с ним. Худой человек был, хоть и сын он мне. Много греха на нем. Спаси, Христос, его душу грешную, — мелко закрестилась старуха.

Помолчала, что-то припоминая. Потом добавила:

— Конь без сбруи вернулся, а в хомуте Савватий золото хранил. Оно всегда с ним было. Мне не доверял... Теперь что? Пропало золото, пропал Савватий. А я зажила, устала я жить...

— Вот почему хомут был таким тяжелым, — вспомнил Клавдий. — Нервничал я, не до него было.

Поблагодарив за приют, Клавдий повернул коня в сторону поселка. Трудно восстановить место, где Клавдий распрягал коня, если прошло восемь лет. Проплутав с час, Клавдий Иванович все же наткнулся на сани, сплошь заросшие кустарником. После этого хомут найти было делом пяти минут. В специально сделанных тайниках лежали мешочки с золотым песком и самородки. Всего золота оказалось шесть с небольшим килограммов. Золото было сдано в фонд обороны страны. Шел 1942 год.



ЮРИЙ БОГОСЛОВСКИЙ

Родился в Вологде. В юности был осужден и провел несколько лет в заключении. Потом круто изменил свою биографию, поступил на 23 ГПЗ рабочим. Без отрыва от производства окончил Вологодский педагогический институт, занялся литературной деятельностью. Писательский дебют — повесть «Мой путь к свободе». Активный общественник, член общества борьбы за трезвый образ жизни. Работает дворником.

КОЛХОЗ — ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

Петруха Гвоздь, получив в свое время срок, к концу этого самого срока малость поумнел и освободился вполне приличным для общества человеком.

Он поступил на завод, занял койку в общежитии, завел себе «маруху», да не какую-нибудь «десятую или двадцатую нелюбимую жену султана», а настоящую, без подделки, продавщицу комиссионного магазина с крашеными ногтями на руках и ногах.

В общем, жизнь у него покатила чин-чинарем, и через некоторое время на его сберкнижке замаячило красивое трехзначное число честно заработанных сбережений. Число это быстро увеличивалось, как снежный ком, пущенный с горки, поскольку еще в колонии он дал зарок отрубить себе руку, если хоть раз она протянется за бутылкой.

В счастливые минуты он доставал из пупырчатого бумажника сберкнижку, любовно ее перелистывал и напевал себе под нос: «Деньги советские толстыми пачками с полок глядели на нас...»

Вскоре Петька убедился, что свою жар-птицу крепко держит за хвост: его после работы зазвал к себе в кабинет начальник цеха, усадил, как порядочного, в кресло, поговорил о том, о сем и на прощанье пообещал, что если он будет примерным работником, дать ему в новом молодежном общежитии комнату гостиничного типа.

Очень-то крепко, конечно, Петруха этому не поверил, ибо судьба-злодейка раз двадцать надувала его самым бессовестным образом, но во внимание все-таки взял. Вот почему он очень даже положительно отнесся к предложению профорга поработать на субботнике, возникшем как-то стихийно, и скорее всего потому, что завод вот уже который месяц не мог разварзаться с государственным планом.

Поработать — значит, поработать, тем более, если особых препятствий для этого нет: Петруха один, как перст, не считая, конечно, «марухи», времени свободного у него навалом и отношение видит к себе человеческое, так почему бы и ему не откликнуться на добро добром?

В назначенную субботу Гвоздь пришел на завод, под духовой оркестр прошел проходную, переоделся в рабочую одежду и заступил на свое рабочее место.

Все у него ладилось, запчасти он заготовил впрок еще вчера, получил в кладовке гайки, болты, подшипники разных типов, чтобы не трепыхаться туда-сюда, а работать обстоятельно, без спешки, благо ни одна собака над душой не стоит — субботник ведь!

В иные минуты, когда ему было особенно любо, он гладил какой-нибудь удачно получившийся двигатель и говорил сам себе: «Не больно, конечно, не на выставку, но за эти деньги сойдет».

Напарником у него оказался пожилой, но пустой человек, звали его Иван Иванович. Он все бегал куда-то, то покурить, то еще зачем. Петруха не обращал на него внимания, брал теплый после сушки статор, подлаживал его под руку, ножом счищал остатки пропиточного лака, приспособливал ротор, менял на валу прохудившиеся подшипники, закрывал и закручивал болтами крышки.

Рядок готовых электродвигателей вытягивался и вытягивался. ОТК безоговорочно ставил на них штамп «принято», а ярь к работе только увеличивалась. Не зря, видимо, говорят, что аппетит приходит во время еды.

Петруха нет-нет да и оглядывался вокруг себя, интересовался, как идут дела у обмотчиков, у генераторщиков, удивлялся начальству, которое шастало без дела туда-сюда, вместо того, чтобы пристроиться к чему-нибудь полезному.

Уловил, что часов, примерно, в одиннадцать, заволновалась Ахромеевна, тоже пустая бабенка, наподобие Ивана Ивановича, засобирила свои манатки, зашушукалась с соседкой и заявила мастеру, что они, мол, пошли «по договоренности». Мастер пожала плечами: пошли так пошли, колхоз — дело добровольное, никто не приневоливает, не поинтересовалась

даже, как это понять — «по договоренности»: то ли они между собой договорились, то ли еще с кем.

Только Ахромеевна с напарницей ушла, к генераторщикам явился гонец, которого они наладили еще утром по какому-то тайному адресу. Возвратился он успешно, и сейчас генераторщики шушукались, озирались, суетились, бегали за кем-то. Как конспираторы не старались, но было ясно — готовится выпивка.

Петруха видел, как полилась, забулькала бормотуха, видел, как вмазали мужики по стакану и заворковали по-голубиному: и жизнь хороша, и жить хорошо.

Иван Иванович, напарник, из солидарности кивнул ему головой и еще для пушей убедительности приманил пальцем: иди, мол, сюда, выпей в честь субботника. Петруха усмехнулся в душе, как старший посмеивается над молодым несмышлеником, подумал: «Поищи дураков! Выпью я твой паршивый стакан, а потом от тебя век не отвяжешься. Пей уж сам, я свою долю выпил!» Вслух же ничего не сказал, лишь отвернулся. Иван Иванович не обиделся, сказал не то в петрухино осуждение, не то в похвалу: «Вон ведь что с мужиком сделали!» Петруха этих слов его не слышал, махнул Ивану Ивановичу рукой: делай, мол, Ваня, делай!

После того, как круговая чаша завершила свой оборот и струя бормотухи иссякла, «гудки» стали расползаться, кто куда, по разным сторонам. Исчез и Иван Иванович, вроде как его и не было. Петруха подумал: ленивый с воза — кобыле легче, и продолжал клепать и клепать движки, как будто влияние коллектива на него ни капельки не распространилось.

У цехового руководства тоже были свои проблемы. У старшего мастера Серостанова отмечался день рождения жены — сорок лет. Юбилей, не юбилей, но дата круглая, и ее надлежало соответственно отпраздновать. Было наготовлено и наварено всего, было вдоволь закуплено вин и водок, были приглашены баян и гитара. В общем, все планировалось на широкую ногу.

Гости должны были собраться желанные и нужные: начальник цеха с женой, экономист, она же бухгалтер, нормировщик, зав. складом. Это все — не считая родни.

Начало торжества спланировали на четырнадцать часов, поскольку, исходя из опыта прошлых лет, к этому времени все работники должны были разойтись с субботника, и начальству оставалось только подсчитать выработанную продукцию и запереть цех на замок. Все шло по плану. Об-

мотчицы вслед за Ахромеевной по торной дорожке, в одиночку и по двое, потянулись на выход, генераторщики, все допив, полетели ловить свою жар-птицу, начальство отбыло готовиться к торжеству, передав всю полноту власти в цехе старшему мастеру Серостанову, который на своем транспорте, поэтому и обернется быстрее.

А Гвоздь, ни сном, ни духом не ведая о тонкостях цеховой политики, продолжал махать и махать, не проявляя при этом никаких признаков скорого закругления. И мысли у него были хорошие: «Получу комнату,— думал он,— женюсь, какие мои годы, детишек заведу, потомство после себя надо оставить. Скажу «марухе»: вот так, голубушка, люблю тебе пеленки стирать, держи крендель и покати в загс. Не люблю — значит, разошлись, как в море корабли.

Иногда, переполненный чувствами, он начинал петь: «Широка страна моя родная...» Вдруг, не зная сам почему, резко менял пластинку и затягивал жалостливую: «Таганка! Я твой бессменный арестант, погибли сила и талант в твоих стенах...»

Время шло. Критическая минута, когда мастеру Серостанову, вынь да положь, нужно бы ехать, неумолимо приближалась. Все разумные сроки прошли. В соседних цехах стих шум. Рабочие, отдав дань уважения славным традициям, расходились по домам, а здешний новоявленный рекордист махал и махал.

Конечно, кто спорит, худого в этом ничего нет. Движки нужны как воздух, цех с ремонтом не справляется: не успеешь поставить мотор — пых, сгорел как свечка! Давай, снова перематывай!

С другой стороны, народ-то дома собрался, его ждут. Все бы ничего, да за родителями жены нужно еще заехать, их привезти. Тут уж баба тяжела, в этом вопросе ее не сдвинешь, сразу начнется крик: ах, ты моих родных не уважаешь! Черт бы драл этого уголовника! Оставить его одного, отдать ключи от цеха, пусть, дурья голова, один с ума сходит?! Да ведь как отдашь, если в цехе обмоточный провод, которому цены нет? И указание есть — посматривать, а, в случае чего, сообщить куда следует. Пока за ним ничего не замечено, работает справно, не тащит, но все может быть — до поры, до времени. Уж коли побывал в бочке деготь, его оттуда никаким кипятком не выпаришь. А вдруг он момента ждет? Под момент-то р-раз и — готово дело!

Серостанов прошелся взад-вперед по цеху, ломая голову, как бы намекнуть, чтобы Гвоздев прекращал работать.

Для блезиру проверил, отключены ли приборы, заперта ли кладовая, и неожиданно смекнул, как быть:

— Ты, Гвоздев, того, заканчивай! Один остался. Энергии на тебя не напасешься. Освещение дороже тебя. Знаешь, в какую копейку оно встает?..

— Сейчас закончу. Вот эти три еще соберу, дай уж, чего там, видишь, масть пошла,— ответил Петруха, совершенно далекий от мысли, что каждой секундой промедления режет старшего мастера без ножа.

— Ни одной минуты,— категорично ответил Серостанов и вырубил главный рубильник, оставив только несколько ламп аварийного освещения, одна из которых висела прямо над Петрухиной головой.

Стало темно, но верстак Гвоздева был достаточно освещен, чтобы работать.

— Мне хватит, я сейчас, сейчас.— Петруха схватил новый статор и стал его обрабатывать.

Вроде бы ничего не случилось, а накал противоборства вырос неимоверно. Серостанов потерял над собой контроль и совершенно неожиданно бухнул:

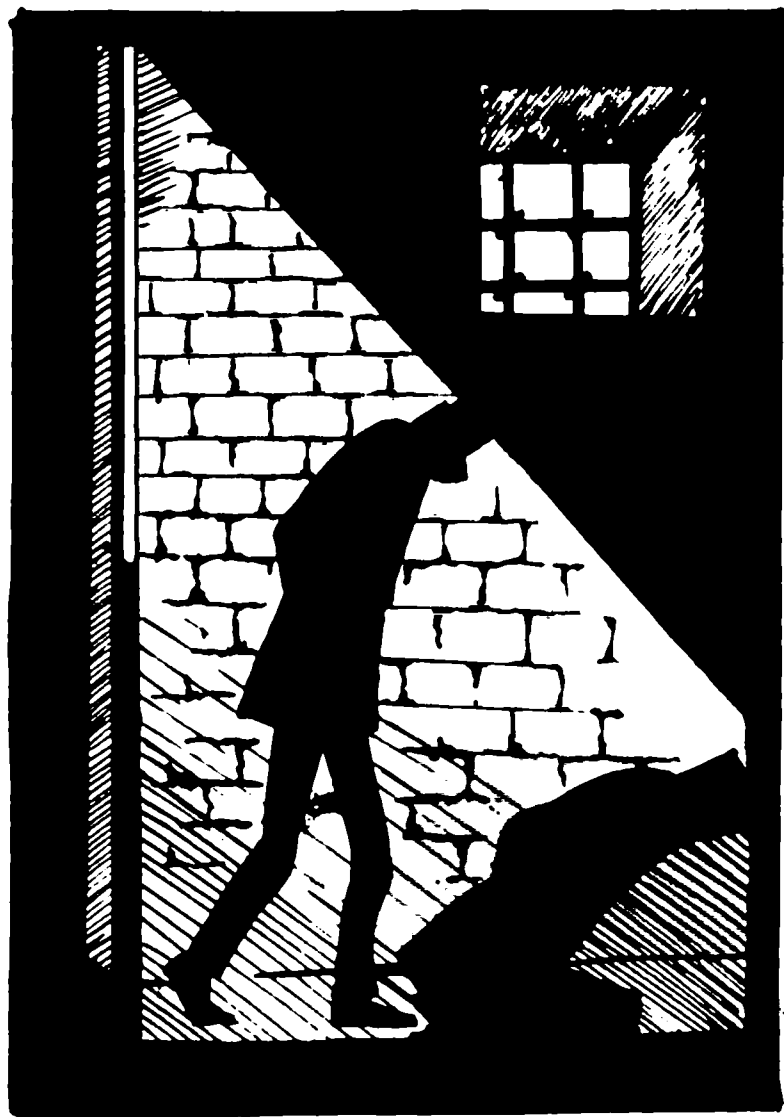
— Давай, Гвоздев, заканчивай!

— Ах, вот как! — вспыхнул Петруха.— А, может, я не хочу? В нем проснулась знакомая злость, которой он сам в себе боялся. Она накатила на него, как волна, захлестнула: не туда гнешь, мастер, не туда, колхоз — дело добровольное, хочу еду, хочу — пешком иду!

Серостанов забежал по цеху, думая, что же ему делать? Запереть его, шельму, пусть покукует в четырех стенах до понедельника? Нельзя, зашумит, скандалу наделает. Вызвать милицию, с милицией его вывести? Так скажут: субботник, самого еще за притужальник потянут. А с другой стороны, как же с таким ухорезом дисциплину держать?

— Давай, кончай, по-хорошему говорю! — окончательно вышел он из себя и злоеще добавил,— мне ведь идти надо! Петруха молчал, нутром чувствуя свою правоту.

Но дело было сделано: страсть к работе, та ярь, которая двигала его поступками, принеся ему немало приятных минут, куда-то пропала. Движки, минуту назад казавшиеся чуть ли не молочными поросятами, опять превратились в грубые куски железа. Он не по желанию, а больше уже по злости поднял статор, поставил его на верстак, но сразу же почувствовал отвращение — не захотел даже поднять руку, чтобы соскрести с него потеки лака. Он посмотрел на длинный ряд двигателей, собранных им за сегодняшний субботник, и не ощутил радости и удовлетворения от своего труда.



На Серостанова накатила обида: «Вот возьму сейчас половчее болт-двадцатку, да вмажу промежь глаз, чтобы искры во все стороны!» — совсем уже ошалело подумал он, но рефлекс осторожности, выработанный в колонии, остановил: «Дай я ему сейчас, и будешь потом хлебать кислые щи. Там не посмотрят, субботник был или не субботник».

— Так бы сразу и сказал, — буркнул он, подавив в себе агрессивное желание, и стал собирать в ящик разбросанный по столу инструмент.

КОНТРАБАНДИСТЫ

Помидор, Стальной, Неспешило, Жид, Капа и Вася Баканов, по какой-то непостижимой прихоти судьбы не получивший клички, сидели в углу швейного цеха и обрезали бахрому с брезентовых курток и брюк, подготавливая их к сдаче контролеру ОТК. Чуть в стороне перед ними шпарил конвейер, от моториста к мотористу перелетали заготовки, в воздухе стоял столб едучей пыли, ревели, взвизгивая, машинки, было жарко.

Крой закончился, лента остановилась, последние брюки легли на стол приемщиков. «Перекур!» — скомандовал Стальной, и все потянулись курить в коридор. В цехе остались Капа и Вася Баканов. Капа достал кусок хлеба и начал жевать. Тощий Вася, измотавшийся в тридцать лет на лесозаготовках еще на воле, безразлично смотрел на жирного Капу, насобиравшего вот эти самые куски в столовой. С точки зрения Васи кормежка в колонии была голодной, но не настолько, чтобы терять достоинство человека и сшибать куски. Капа эту грань нравственности перешел, слушался только приказаний своего желудка, рабски подчинив ему все остальные чувства. Это вызывало неприязнь к Капе, но, зная старую лагерную заповедь — больше молчи, себе дороже будет, Вася помалкивал. Он не уважал Капу, как слабого человека, но жалел иногда, когда тот возвращался после обеда с пустыми карманами, подкармливал его собственной пайкой.

— Помидор сегодня совсем не работает, — сказал Капа, пережевывая хлебную корку.

— Пускай отдохнет, ему три дня до свободы осталось, — заметил Вася, жалея и Помидора за его непомерную толщину, чему в зоне все удивлялись, а Витька Стальной, карманник с Марьиной Роши, сидевший в лагерях с детства, был даже влюблен в его пышные формы.

Было удивительно, что Помидор мало употреблял пищи и не курил, хотя ему все советовали это проверенное средство для сбрасывания жира. Капа имел на Помидора зуб за то, что он недоеденную часть своей пайки отдавал не ему, а кому-то другому. Недовольство свое он, естественно, не высказывал, но при случае оно проявлялось. Поначалу Помидор к Капе относился доброжелательно и подкармливал его, но до той поры, пока тот не вступил в актив и не нацепил на руку красную повязку.

Витька Стальной и Жид были выше этой мелочной возни с пайками, красными повязками, им было необходимо время для картежной игры, и они, заручившись молчаливым согласием всей бригады подсобников, исчезли на неопределенное время.

Неспешило обладал умом философа, насквозь видел всех этих копошавшихся человечков, терзавшихся по воле собственных прихотей, в душе смеялся над ними и презирал. Сам он тоже полностью не был свободен от земных человеческих страстей и мучительно переживал отсутствие чая, к которому привык за долгие годы неволи. Сейчас, вот уже несколько дней, чаю в зоне не было, и не предвиделось в самое ближайшее время, поскольку администрация взяла курс на искоренение спекуляции, мудро решив, что если избавиться от причины, то не придется возиться и со следствиями. Одна надежда была на Помидора, давшего честное слово, что после освобождения, на следующую же ночь, он проберется к рабочей зоне, заляжет между боровков картофельного поля, а утром, когда заключенные выйдут на работу, перебросит через забор несколько контейнеров с чаем и водкой. Уже в течение месяца Стальной, Неспешило и Жид втолковывали ему все тонкости предстоявшей операции. Операция была очень сложной и опасной, поскольку шансов сбежать после переброса у Помидора, из-за его тучности, не было никаких, и он был согласен добровольно продлить срок своего наказания еще на пятнадцать суток, которые народный судья района, где расположена колония, вынесет ему на основании указа за мелкое хулиганство. Капа и Вася Баканов об этом, естественно, ничего не знали.

Перекур закончился, заповизгивали машинки, мотористы и подсобники потянулись из коридора в цех, Помидор шел между Стальным и Жидом, обнимавших его за талию, и закатывался смехом. Капе очень хотелось призвать всю их четверку к порядку, чтобы работали, а не хихикали, но он твердо знал, что если только заикнется, Стальной

сразу же усядется на свое рабочее место, вгрызется в работу, шустрые пальцы карманника замелькают, он обгонит всех по производительности, в том числе и его, укажет ему на это, а то еще и отвесит хорошего леща, чтобы не болтал лишнего. Все будет сделано чисто, не подточит комар носа, в результате Капа перед всей бригадой окажется склочником и лодырем, а Стальной тружеником и хорошим человеком, хотя все на самом деле, по крайней мере, с его точки зрения, было как раз наоборот.

Стали рассаживаться по своим рабочим местам. Помидор топтался на месте, не зная, садиться ему работать или, используя свою привилегию освобождающегося, смотаться из цеха куда-нибудь на свежий воздух.

— Помидор, ты целый день сегодня шляешься, ни одних штанов еще толком не очистил!— сказал Капа.

— Помидорушка, не слушай этого жлоба, иди гуляй, я за тебя отмажусь!— сказал Стальной, внимательно посмотрел на Капу и добавил.— А ты, сучка, шевелись сам, не видишь, после тебя бахрома висит, нянька тебе нужна? Смотри, враз по шее схлопочешь!

Все трое суток, оставшихся до помидорова освобождения, бригада подсобников провела вот в такой нервной, недружелюбной обстановке, а когда Помидор ушел, эта нервная обстановка еще более обострилась. Все гадали, придет он или не придет, обманет или не обманет, только Капа ничего не подозревал и злился, что Стальной с Жидом постоянно шепчутся, а Неспешило вздыхает, то и дело, в бессилии опуская вниз руку с ножницами.

На следующее утро, едва ступив ногой в рабочую зону, Стальной, Жид и Неспешило, сломя голову, бросились к условленному месту, и им прямо на головы полетели из-за забора женские чулки, набитые чаем и грелками с водкой. Три чулка, затаренных одним чаем, повисли на заборе, зацепившись за колючую проволоку, а три других с водкой, более тяжелые и удачливей брошенные, достигли цели.

Солдат на вышке клацнул затвором, выстрелил, на заборе сработала сигнализация, но не успели солдаты охраны выскочить из своего караульного помещения, как дело было сделано, чулки надежно припрятаны, а контрабандисты сидели на своих местах и усердно стригли нитки. Добыча разложилась поровну, три чулка с чаем, которые Помидор непредусмотрительно не отяжелил каким-нибудь предметом, ну хотя бы камнем, достались солдатам взвода охраны, не циферившим, а водка, наверное, по злой иронии судьбы,

оказалась у заключенных, забывших за долгие годы ее вкус и считавших бесполезным и дорогим баловством. Они бы ее выпили, конечно, если бы был чай, этот жизненно важный напиток, без которого они не могли ни жить, ни работать. Выход был один — обменять водку на чай, а это можно было сделать, договорившись с солдатами, стоявшими на вышках. Иными словами, необходимо было заключить джентельменское соглашение по обмену, баш на баш, чай на водку, в котором были заинтересованы обе противоположные стороны.

Парламентарем пошел Стальной, как более пронырливый и языкастый. Он подошел к запретке, сделал руки лодочкой, чтобы приглушить голос, и позвал:

— Начальник, а начальник! — Солдат, связанный присягой не вступать в контакт с заключенными, кивнул головой — слышу, мол, давай, чего там у тебя! В принципе, препятствий для обмена не было ни у одной из сторон, но солдат поставил условие, что он может состояться только в жилой зоне и обязательно ночью, чтобы ни солдаты с других вышек, ни заключенные ничего не увидели.

Стальной вернулся в цех с постным выражением лица. Задумались. О перетранспортировке водки в жилую зону нечего было и думать, пронести ее через два обыска не удалось бы никому.

— Братцы,— сказал Неспешило,— что если попробовать в шарике?

Тайну шарика, с каким дети, да иногда и взрослые выходят на праздничные демонстрации, знали все трое. Неспешило транспортировал в нем наркотики, когда они, естественно, попадали ему в руки. Он выливал их в этот шарик и заглатывал, чтобы растариться уже в безопасном месте. Но наркотики, объем которых не превышал никогда сотни-двух кубиков — это одно, а два-три литра водки это совсем другое. Чье брюхо может выдержать такое?

— Жаль, Помидорушки нет,— сказал Стальной,— Помидорушка бы сдюжил. Все были согласны, что Помидор в подобных случаях был незаменим, хотя и жрал мало, но все органы, в том числе и желудок, у него были большими, во всяком случае, все трое так думали.

— Давайте Капу попросим? — предложил Жид, самый хитрый из троицы, прикинувший, что, если Капа не согласится, то роль контейнера придется выполнять ему, как более габаритистому и менее уважаемому. Ему до боли было противно глотать резину и ждать целый час, пока брюхо будет заполняться водкой, имеющей не только приятное свой-

ство туманить голову, когда ее всасывает желудок, но и отвратительно пахнуть.

— Капа ненадежный,— сказал Стальной,— может попросим Васю Баканова?

Неспешило засмеялся:

— Нашел грузчика, да у Васи желудок, как у воробья, в него больше поллитра не закачать.

Действительно, Вася, сухой как жердь, для подобного дела не годится. Стальной и Неспешило вопросительно посмотрели на Жиду. Жид понял, что, если он в эту минуту не придумает каких-либо контрмер, то водку будут закачивать в него.

— Ты зря говоришь, что Капа ненадежный. За три пайки хлеба он все сделает, и еще спасибо скажет. У него и брюхо, как бочка, в него можно все три литра закачать и еще свободное место останется.

Посовещались и решили поговорить с Капой, взяв с него честное слово, что он никогда, никому, даже на свободе, об этом случае не расскажет. Жид отозвал Капу в сторону и сказал:

— Капитон, слушай сюда, выпить хочешь?

Капа подумал, что его разыгрывают, и ругнулся:

— Пошел ты к ...!

— Да ты погоди, я серьезно говорю...

Жид схватил Капу за рукав, слегка притянул к себе и начал объяснять суть дела. Капа задумался, предложение было очень заманчивое и, на первый взгляд, необременительное.

— А если резина порвется, мне тогда подышать?

— С чего она порвется, у тебя в животе-то гвозди?

— Гвоздей нет, мало ли зацепится.

— Да ты чего, в школу не ходил, устройства своего не знаешь?

Стальной махнул рукой:

— Чему там в школах сейчас и учат?!

После длительных переговоров Капа дал согласие, но потребовал в дополнение к трем пайкам еще стакан водки, чтобы выпить его натуральным образом. Посовещались и решили это его условие принять. Во время обеда, когда все ушли в столовую, Капа лег на спину и взял в рот шарик. Стальной вылил водку из грелки в алюминиевую миску и ложкой начал заполнять резиновую емкость. Капа с каждой новой ложкой делал глотательные движения. Водка опускалась вниз, вытягивая резину своей тяжестью. Первая поллитровая грелка опустела.

— Ну как? — спросил Стальной, заботливо глядя на Капу.

Тот пожал плечами — мол, давай, поехали дальше. Перекачали вторую грелку. Капа махнул рукой, даже не встав, — заканчивай новую! Стальной не согласился, велел ему встать, зажать зубами отверстие шарика, чтобы не ускользнул в желудок, и велел пройти по цеху.

— Не булькает? — спросил он.

Капа отрицательно помотал головой. Начали перекачивать третью грелку.

Через час Капа был заполнен до отказа, шестая грелка не вместилась, она за вычетом выпитого уже стакана была неполной, и ее решили допить. Отверстие шарика перевязали ниткой, дали ей слаbinу, а конец Капа привязал к зубу мудрости, самому дальнему, одинокому и как бы созданному специально для этой цели. Когда Капа получил возможность говорить, он попросил еще водки, выпить, и ему налили еще полстакана.

Начался съем с работы, и у всех, кто знал о контрабанде, в тоскливом предчувствии сжалось сердце. Переждать бы сутки, подумал Стальной, увидев, как усиленный наряд надзирателей, осведомленный уже о переброске, тщательно проверяет у заключенных каждый карман, каждый шовчик, выискивая присутствие хотя бы крупички свежего чая. Капа, пьяненький, шел смело, придерживая рукой живот, чтобы не булькала водка, на щеках у него играл подозрительный румянец.

Он проявил полную нерасторопность, попав в лапы Ивана Ивановича Веселова, самого хитрого из надзирателей, хотя мог бы подойти к другому, менее опасному, которого услужливо подставлял ему Стальной. Иван Иванович для чайных контрабандистов не был так страшен, как для выпивших. Сам он был трезвенник и запах водки чувствовал за несколько метров.

— Стоп! — остановил он Капу, — А ну дохни!

Капа дохнул особым приемом, когда натренированный человек не столько выдыхает воздух, сколько вдыхает. Ученый Иван Иванович скомандовал:

— Шире рот!

Исполнительный Капа, общественник, привыкший безропотно выполнять распоряжения начальства, раскрыл. И тут Иван Иванович разглядел черную нитку, тянувшуюся от капиного зуба мудрости ему внутрь.

— Что это? — спросил Иван Иванович.

— Ничего, — ответил Капа.

— Ах, ничего, да еще и пьяный, а ну отойди в сторону!

Когда закончился съём, Иван Иванович завел Капу в надзирательскую и велел рассказать, чем он затарился. В общем, картина была ясная. Помидора за забором уже схватили и отправили в милицию, где его оформили на пятнадцать суток, и вот теперь попался сам подогрев, осталось только извлечь его из контейнера.

Вокруг Капы собрались все надзиратели, дежурившие на смене, пригласили врача и оперуполномоченного, но никто из них с подобным случаем дела не имел. Приходилось решать на месте, а, следовательно, и брать всю ответственность.

— Чего проглотил, Капов? — миролюбиво спросил оперуполномоченный.

Капа же вместо того, чтобы чистосердечно обо всем рассказать и покаяться, языком стащил нитку с зуба и проглотил ее. Когда проглотил, понял, что это для него верная смерть, и заплакал.

Молодой, неопытный врач, работавший в колонии недавно, пожал плечами и сказал, что контрабандиста придется везти в больницу и там делать операцию. Он же снимает с себя всякую ответственность.

Капа заревел громче, притворяясь процентов на девяносто. Все растерялись. В этот момент Иван Иванович чего-то скумекал и выбежал из дежурки. Через несколько минут он появился снова с алюминиевой миской, полной пшенной каши, поставив ее перед Капой, сказал: «Ешь!».

Капа начал есть. Его вытошнило. «Ешь!» — приказал Иван Иванович, хотя никто не понимал, зачем он зря распирает и так набитого под самую завязку заключенного. Капу снова вытошнило, и вместе с пшенной кашей изо рта выползла черная нитка. Все облегченно вздохнули.

За нитку вытянули горловину пузыря, развязали его и растарили контейнер. Водка, вылившаяся в кастрюлю, специально принесенную из кухни, была белой, чистой и вполне пригодной к употреблению.

КАПА И ПОМИДОР

После Помидоровой контрабанды подсобников расформировали, посчитали, что только от безделья люди могут творить подобные нехорошие дела. Неспешило пересадили на конвейер, на петельную машину, с таким расчетом, чтобы человек постоянно был привязан к своему рабочему месту и находился на виду. Стального тоже думали где-нибудь прис-

пособить поближе к бригадире и мастеру, но в отношении конвейера у него обнаружилось что-то наподобие аллергии, и встал вопрос — или его вообще убрать из зоны, как отрицательно влияющего на трудовой коллектив, или оставить в подсобниках. Остановились на втором варианте, но приставили к нему специального человека, чтобы приглядывал, а в случае какой-нибудь длительной отлучки с рабочего места докладывал бы.

Ответственность за контрабанду и за связь с Помидором возложили на Жида, на него дал показания Капа, назвав организатором всего дела, и его оформили в БУР на шесть месяцев. Вася Баканов со своими полутора годами освобождения, а Капе присвоили вторую ступень исправления за чистосердечное признание своей вины и представили к досрочному освобождению, так что судьба его должна была решиться в течение двух-трех месяцев.

Капа готовился к освобождению, совсем перестал ходить в ларек и копил деньги на новую телогрейку и новые сапоги, чтобы выйти за ворота зоны поприличнее. Первый барьер — административную комиссию — он взял, о контрабанде, нашумевшей на всю зону, не вспомнили. Наблюдательная комиссия была построже, и Капа трясся самым натуральным образом. И он не ошибся, ножку ему подставил заместитель начальника колонии по режиму капитан Коптяев. Он упомянул о случае с контрабандой, это уловил прокурор по надзору за местами лишения свободы, тоже член комиссии, Капу начали расспрашивать, пришлось рассказать о шарике, комиссия заохала и заохала, в общем, его зарубили, дали отсрочку на полгода и наказали, что если за это время не совершит нарушений режима, будет также честно работать, его освободят.

Никто ему не посочувствовал в бригаде, но никто и не позлорадствовал, парень он, в целом, был неплохой, а то, что не сдюжил и раскололся, так в этом случае вряд ли кто проявил бы большую твердость. На это был способен если только фанатик наподобие Стального, ну а таких в зоне раз-два и обчелся.

Жид томился в БУРЕ и отчаянно, через дневального и лекпома, молил о подогреве. Просил он не жратвы, на это он был человек стойкий, а чаю, хоть самую маленькую заварочку, хоть на папироску!.. Общими усилиями сколотили ему подогрев и Стальной сам лично отнес его буровскому шнырю, как бы засвидетельствовав своим авторитетом важность и ответственность этой передачи.

После отсрочки на наблюдательной комиссии Капу выз-

вал отрядный и предложил вывести его на бесконвойку, чтобы он зарекомендовал себя и там положительно. Капа согласился, хотя понимал, что бесконвойка — не мед, один попросит письмо отпустить в вольный почтовый ящик, чтобы ушло без цензуры, второй — принести заварочку чайку, третий подойдет и по-человечески скажет: «Капа, друг, вот тебе рублевка, принеси из столовой пару мясных котлет, не могу, тоскую на этой лагерной султыге!» И вот попробуй в этих условиях удержись, не сделай нарушения? Радовало одно, проблема со жратвой была решена полностью, неприятного, сосущего чувства голода, от которого не свободен почти ни один заключенный, бесконвойник уже не испытывает, к его услугам вольная столовая и вольный магазин, хотя заходить туда запрещено, но мир не без добрых людей. Всегда найдутся хорошие люди и сочувственно отнесутся к попавшему в беду человеку.

Большинству просителей Капа решительно отказывал, не смог отказать только Стальному, научившему его проносить чай в таком месте, куда ни один надзиратель без врача сунуться не посмеет. Капа попробовал — получилось, и контрабандная тропа заработала. Он не наглел, не гнался за многим, приносил Стальному ежедневно по пачке чаю, получал от него за это рублевку денег, покупал на нее в магазине следующую пачку, а навар проедал в столовой на белом хлебе или пирогах.

Жид вышел из БУРа голодный и злой, но к еде не притронулся до тех пор, пока Стальной не сварил кружку чифира.

— Ну как там в БУРе? — спросил Неспешило.

— Как на даче: ни пи..., ни передачи!

Все поняли, что он обижен на свою долю, что ему одному пришлось отдуваться за общий грех. Все понимали, что это смешно, не тащиться же было всем из солидарности на фунт хлеба и кислые щи, когда это же самое мог сделать один человек?

Как только Жид чифирнул и наелся рыбных консервов с пекарским хлебом (все это было специально куплено для него в магазине), так злость его прошла.

Работать его посадили на конвейер, хотя он отбрыкивался и руками, и ногами, но операцию дали отдельную, независимую от общего потока. Капа чувствовал перед ним свою вину, подлащивался, обещал притащить из-за зоны банку сгущенного молока или растворимого кофе «Касик», которые он увидел Бог весть где. Жид подлащивания принимал, но зуб на Капу держал, хотя и понимал, что у того выхода,

действительно, не было. Он, конечно, был — взять полностью всю вину на себя, но героического и самоотверженного поступка можно требовать только от героя, а героем Капа не был и на такую роль никогда не претендовал. В конце концов Жид это понял, и между ними установились прежние нормальные отношения.

Ровно через полгода Капу выпустили на свободу, он прошел все инстанции, и народный суд освободил его условно-досрочно. Все понимали, что требовать от него жертвы, наподобие той, что принес Помидор, было глупо, да и жертва была слишком велика; Капу в случае неудачи могли просто вернуть в зону досиживать условный срок — а это полтора года. Отпустили его с миром, наказав, чтобы нашел себе бабу, женился бы и жил, как живут все нормальные люди, а хулиганить и таскаться по лагерям не его удел.

Через некоторое время про него забыли, вспоминал иногда Стальной, потерявший верного гонца, да Жид, которого Капа обманул: так и не принес ни сгущенного молока, ни растворимого кофе.

Вдруг, как бомба, разорвалась весть, что Капа сел, сидит в тюрьме за хулиганство, у него капитально «летит гусь»*, его возили на судебно-медицинскую экспертизу, признали здоровым, и, следовательно, вот-вот должны осудить.

— А Помидорушка вот живет, — с особым нежным чувством сказал Стальной.

— Сравнил тоже, Помидор — человек, а этот — недо-разумение какое-то! — проворчал Жид.

Никто не возразил. Все понимали разницу между Капой и Помидором. Оба, в свое время, пострадали за общество, только один бескорыстно, а другой за три пайки хлеба и стакан водки.

Капа пришел в зону какой-то не такой, таким его никто не помнил, цвет лица у него был нездоровый и глаза блуждали, как бы выискивая точку, на которой можно было бы остановиться. Такой точки не попадалось, и они воровски шарили кругом. «Шизик!» — подумал Жид и решил быть с Капой поосторожнее, чтобы не напороться на какую-нибудь неожиданность, чего-чего, а кулачище у того был здоровый, поставит дулю — с дурака какой спрос?

— Капа, чего же ты, брат? — сказал он при первой встрече.

* *Летит гусь* — т. е. свихнулся (жарг.)

Капа совершенно беспомощно посмотрел на него и проговорил одно было слово:

— Верка! — только через какой-то промежуток времени смог добавить: — Сука!

— Все они суки, нечего было связываться! — безразлично поддакнул Жид.

К разговору внимательно прислушивались Стальной и Неспешило.

— Усач в подтяжках! — сказал Капа, и на лице у него выразилась такая мука, что Неспешило, готовый засмеяться, подавил смешок. С великим трудом, сообщая, добились от Капы сути дела. Все было, как обычно: освобожден, приехал, устроился на работу, познакомился вот с этой самой Веркой, выпивал. Сама Верка — разведенка, у нее дочка Наташка, был хахаль, но Капа его легко отшил.

Верка — бедная, работала уборщицей в школе — их называют техничками — там у нее была комнатка, неудобная в том отношении, что мужика лишний раз не приведешь, все на виду, а для Капы, как для бывшего ученика этой школы, притом непутевого, сделали исключение. Капа не дурак, с учителями — «Здрасьте, здасьте!» — а при случае и шапку с головы стащит, так что его в школу пускали, особенно не оговаривали. Все было хорошо, но потом пошли нелады. Неспешило, в этих делах дотошный, сразу же стал копать глубже. Ему подавай причину — почему нелады? Капа молчит, сука, мол, Верка — и все. Только и в лагере люди неглупые, ясно каждому, что ни с того, ни с сего баба не курванется, мужика в тюрьму не закатает, нужна причина. Верка не королева, разведенка, с дочерью, такие бабы за мужиков держатся, ой как! К тому же Капа говорит, что любовь была, все было, как у молодоженов во время медового месяца. Всех поставил он в тупик. Неспешило его спрашивает:

— А с дочкой Веркиной как, ладил?

— Чего дочка, чего дочка? Тоже такая же сука, вместе заявление в милицию писали.

— И эта усача привела, пьяного, в подтяжках? — спросил Жид. Тут все засмеялись.

— Ты девке-то гостинцев приносил? — спросил Стальной, понявший, что вокруг Капы сгущается атмосфера недоверия.

— Пряников приносил, один раз куклу купил.

— Только-то за полгода? — докапывается до истины Неспешило?

— А чего еще?

— А Верке чего приносил?

— Верка со мной каждый день водку пила, я принесу бутылку,— она стопарь за каждый раз выпьет.

— А закуску кто покупал?

— Закуску Верка ставила. Велика ли закуска-то, картошка да огурцы, хлеб еще...

— А заработок какой у Верки? — выжимал все, до тонкости, из Капы Неспешило.

— Обычный, сорок пять.

Все замолчали, как бы оценивая обстановку, сложившуюся в неудачной Капиной семейной жизни.

— Я думаю, такого ни одна баба не выдержит: дочка, хахаля корми, и заработок сорок пять! — сказал Жид.

— У нее приработка-то не было? — участливо спросил Стальной, хотя всем уже было ясно, что Капа во всем виноват сам, и дело тут не в Верке.

Начали расходиться. Капа остался один, он без всякой туфты шмыгал носом и повторял:

— Верка — сука! — мотал головой, в полном отчаянии выл:— Все равно суку люблю!

Стальной сочувственно покачал головой и сказал Неспешиле:

— А у Помидорушки-то, говорят, сын родился.

Они помолчали и пошли по своим делам.



НИНА БАХТИНА

Родом из Вожегодского района, выросла в селе. Рано потеряла мать, познала, что такое заработать на хлеб. Перепробовала много профессий, в том числе судового повара, кассира, сотрудника газеты. Оказала большую помощь в работе Детского фонда. Но главное дело ее жизни — литература. Участница литобъединения «Ступени» с 1988 года. В 1990 побывала на конференции женщин-литераторов Северо-Запада.

ЗОЛОТИНКИ

— Лена, придется твой поход в лес отложить. Меня вызывают на совещание, а Наташку одну дома не оставишь.

Леночка знала в ближнем лесу каждую тропинку, но завтра идет в лес весь класс, с Марией Петровной вместе. Леночка обреченно глянула на сестру и тихонько, обидно заплакала.

— Поплачь, поплачь, дочка. У тебя, что ни слезинка, то и золотинка. Соберем все, да и купим тебе новые сапожки.

Тогда и Наташа заплакала, но в голос и громко.

— Тебе-то, горе, какого рожна надо?

— Велосипе-е-ед.

ОПЫТ — ДЕЛО НАЖИВНОЕ

В садике Коля мечтал быть летчиком. Легко и хорошо стал учиться в школе. При встрече похвалила первоклассника, напомнив самое заветное:

— Ну, молодец, Коля. Из тебя серьезный летчик получится.

— Ну, да-а. Больно надо. Чтобы свалился да убился.

ПОСЛЕВОЕННОЕ

— Ма, дай сахару.

— А то не давала.

— Дак муха унесла.

Первая редакционная командировка. Стою в коридоре конторы совхоза, пытаюсь, хотя бы видимо, унять дрожь в коленях, прежде чем, приветливо, победно и скромно улыбаясь, идти к одному из главных специалистов.

На мне большая, цветастая шаль с кистями в тон зеленому кримпленовому пальто, перчатки тоже тонируют и черные литые резиновки. Мимо меня, толкая нечаянно-нарошно, места хватает, то и дело пробегает с бумажками хмурая женщина из дверей с табличкой «Отдел кадров». Наконец, женщина не выдерживает моей истуканности.

— Вы зоотехник?

— Нет.

— Доярка?

— Нет.

— Я начальник отдела кадров.

— ?!

— Чего же вы тогда стоите здесь, стенку подпираете?

— Я из редакции.

Мне пора к невропатологу, а потом пойду до окулиста. Как посмела я написать, что меня толкали. Даже это сюсюкающее «нечаянно-нарошно» меня не оправдывает. Где это я, интересно, увидела, что лицо у женщины хмурое? Счастье еще, не брякнула, что у нее хищно сверкала единственная золотая фикса. Что за чушь порой посещает мою бедную голову! Клянусь чем угодно, золотой зуб начальника отдела кадров выражал богатейшую, но одноплановую гамму чувств: от привета до уважения. В лучах его радостного света мою дрожь как рукой сняло, осталось только одно сладостное уважение. Мы, на самой бойкой середине конторского коридора, горячо, сердечно и во весь голос, зачем скрывать, уважали друг друга, а каждая по отдельности, за себя ручаюсь, думала: «Я уважаю себя».

РАЗНЫЕ РУКАВА

— Бабушка, расскажи про разные рукава.

Это у них вместо сказки на ночь. Да и не знает Лидия Сергеевна сказок, да и чем ее-то жизнь хуже сказки. Который год уже на пенсии, спокойно при детках живет-поживает, помаленьку добро наживает, все как и в сказке.

Леночка прижимается к Лидии Сергеевне, пытаясь обхватить ее по талии, долго и старательно отыскивает одной

ладошкой другую за ее широкой спиной. Ничего у нее не получается. Тогда она умиливается на коленях бабушки, обхватывает ее за шею, тычется горячим бархатным ротиком где-то между большим и пористым носом и дряблым ухом и выжидательно затихает.

— В сорок девятом году завербовались мы, внученька, с подружками на строительство Череповецкого завода, выдали нам подъемные, будто заранее за работу спасибо сказали, только деньгами. Пришло время ехать на стройку, а платья у меня ни одного без заплаток нет. Только матушка моя, земелька ей мягкой постелькой, ох уж и выдумщица была. «Не тужи,— говорит,— Лидка, справлю я тебе новое платье». И справила. Основу от своего мало и ношеного взяла, один рукав из моего платья выкроила, а на другой где-то тарак нового ситцу удоборила.

Спустя малое время стала я на стройке не простой рабочей, а бетонщицей, до третьего разряда дошла, работала с вибратором, который бетон в каждую щелочку натряхивает. Только это не женская работа, досадила я свои рученьки. Иной раз иголкой тычь — ничего не чувствую. А смолоду-то я до любой работы была охоча...

Рассказывать дальше можно для себя. Лидия Сергеевна переносит спящую Леночку на кровать, возвращается к окну и смотрит на улицу с высоты четырнадцатого этажа. Прогретые солнцем батареи пахнут пылью, и Лидия Сергеевна вновь видит вечернюю деревенскую улицу, вся она запружена сытыми, добрыми коровами, утомленными едой, ходьбой, солнцем и липучим, надоедливym гнусом. Заулыбавшись, она несильно взмахивает рукой, словно бы загоняя во двор свою капризную неслухмянку, однорогую бодачку Пеструху. Одумавшись, потихоньку плачет. Плачет и ничего не может с собой поделать. И нет у нее сегодня никакого горя, и вчера не было. А Лидия Сергеевна... плачет.

НИЧЕЙНОЕ МОКРОВИЩЕ

День был с утра необыкновенным. Мои рассказы отметили поэт и писатель. Один из рассказов для меня теперь особенно интересен: поэт посчитал его лучшим из лучших, а писатель назвал слабоватым.

С таким вот счастливо-думным настроением и шагнула в кабинет редактора молодежной газеты, предложила для печати свои хваленые рассказы. Редактор положил их на стол, сказав:

— Не буду ими заниматься, нехорошо отнимать хлеб у литконсультанта.

Я тем более торопливо и согласно кивнула. Редактор глянул на меня умным сосредоточенным взглядом, а потом спросил:

— Как вы относитесь к селу?

Это «отношение» он мгновенно прочитал на моем лице, а я горячо и сумбурно подтвердила. Тогда редактор обласкал меня даже для этого дня необыкновенно:

— Да вы для нас просто клад!

Я, извинившись, стала ходить кругами по его просторному кабинету. Немного успокоилась, и мы завели привычный и приятный разговор о поездках по области, о людях хороших, об очерках. Редактор помечтал вслух:

— Хорошо бы два очерка в месяц!

Я торопливо уточнила:

— Для начала лучше один.

Редактор согласно кивнул, и мы договорились встретиться через неделю. В назначенное время положила в сумочку трудовую книжку. Ведь прочитав мои творения, редакция обязательно предложит мне какую-нибудь часть ставки. Потом книжку спрятала в стол: неудобно, будто бы уж прочитала чужие мысли.

В редакции была тишь, да гладь, да божья благодать. За столом сидел новый редактор.

ПО-ГОРОДСКОМУ

К подружке приехала мать. Уходя вечером на танцы, попросили ее сварить картошки к нашему приходу.

— Андели-спасители,— испуганно замахала руками добрая женщина,— не умею я варить картошку по-городскому.

СВОЯ РУБАШКА

Много лет, скрепя сердце, терпела разговоры матерей, которые казались мне переливанием из пустого в порожнее: «Мой Саша! Моя Катя!» Однажды мне показалось, что я тоже, наконец-то, стану матерью. Первым делом срочно высчитала, кто будет вести у нас в то время ясельную группу и твердо решила: «Положу зубы на полку, но не отдам свое дитя на воспитание этой полуграмотной и недалекой мымре».

Не успокоилась, пока не проследила весь путь своего недожденного ребенка, выделив наиболее благоприятные годы для посещения детского сада, вплоть до первого класса. Могла бы проставить жизненные вехи и до замужества-женитьбы, но... сладкая и приятная сердцу тревога оказалась ложной.

БЕДНАЯ ЗОЯ

В комнате строительного общежития в городе Сумгаите мы жили втроем: Зоя, Людмила и я. Зоя, сушая развара, собиралась снова замуж, копила деньги на развод. Людмила была необыкновенная умница, но перед отъездом «нагрешила» со своим парнем и стала отсчитывать дни нашей месячной командировки еще на вокзале, в Череповце. Я ничего не ждала. Все мое было со мной. И даже Лешка.

Однажды мы с ним вволю нагулялись, Лешка проводил меня на третий этаж, а сам вернулся на второй. Я — такая счастливая — летела по коридору, чтобы привычно спрятать блеск и радость глаз, если Зоя не спит. Или дать полную волю распивавшим меня чувствам, если грустная Людочка ждет новостей вечернего Сумгаита.

Дверь в нашу комнату была таинственно полуприкрыта. Я разлетелась до середины: Зоя тихонько плакала на кровати, она способна плакать всюду, Людочка сидела печальная на своей — привычная и давно надоевшая командировочная картина. Однако сегодня было и новое: около окна стоял милиционер, за дверями другой. Рассказов разных о переодеваниях и похищениях мы слышали немало, поэтому я резко крутанулась обратно, за Лешкой. Милиционер, что стоял у дверей, метнулся к выходу, крича:

— Стой!

Второй рванул за мной:

— Держи ее!

Через секунды мы сбились в кучу. Я брезгливо отвела смуглые руки парней, скинула туфельки и забралась с ногами на кровать. Людочка уже улыбалась. Зоя, бедная, смотрела на меня ненавидяще, а парни-милиционеры завели свою протокольную нужду:

— Вы знаете, что вашу комнату обворовали?

— Догадываюсь!

— По чему?

— По вашему кочану!

Парни растерянно переглянулись:

— Посмотрите все же, что у вас украли?

Мне стало весело. В чемодане, если все подчистую выгрести, едва ли и на полсотни наберется. Однако и в чемодане было пусто. Я нервно расхохоталась. Людочка закатилась громче меня. У нее тоже чемодан руки не тянул, но бедная Зоя стала усиленно всхлипывать, и мы жалостно притихли. Из чемодана у нее, правда, ничего не потерялось, зато все деньги из тайного кармашка, пришитого к нижнему белью, украли.

Знали про Зоину ухоронку только мы с Людой.

«СПЯЧКИ СЯРУ»

К соседям приехала гостья. Из Москвы. Москвичек в нашей деревне еще не видали, поэтому вечером в избе соседей чихнуть было некуда.

Москвичка вышла из маленькой комнатки чисто как картинка из журнала: волосики стожком, носик сапожком, бровки волосинкой, губы бантиком, плечики подняты до ушей, грудка до плечиков. На месте талии тела не было, одно наголимое платье. Когда гостья открыла рот, талия была забыта напрочь. Москвичка, оказывается, работала на спичечной... А, пусть сама скажет:

— Спячки сяру, спячки сяру... тыщу получаю, тыщу получаю...

«Тыщу» в нашей послевоенной деревне никто в руках вообще не держал. Да ведь не в одних деньгах счастье. Мужики попереглядывались, поулыбались, и ближний сосед соседей, облом, спросил москвичку прямо в лоб:

— Вот, ежели, к примеру, согласен и с крыши... то мне бы сколько в месяц заплатили?

ПЕРЕПЛЯС

Маломорозный, тихий декабрьский вечер. В такие вечера, как в детстве, верится в чудеса. Душа полна радости и еще ожидает чего-то необыкновенного.

Ожидания всегда сбываются. Навстречу мне, взявшись за руки, идут отец и сын. Малышу едва ли больше трех лет. Чтобы видеть мир на уровне глаз сына, отец переломился пополам. Это неудобство не мешает им дружно приплясывать, разудало напевая:

— Выйду на улицу, гляну на село,

Девки гуляют — и мне весело!

Поравнявшись со мной, мужчина на мгновение распрямился:

— У нас праздник, сыну три года!

— Поздравляю... рада... — стоя счастливым столбом лепетала я подходящее к случаю.

ЗВЕЗДЫ В ЛУЖАХ

Как хвастливы люди: «Он видит в лужах звезды». Я вижу звезды только в лужах. Давно. И молчу.

ДИВО

Поставив пломбу, стоматолог скажет:

— Прикусите. Не мешает?

Обычно мешало. Вылечив очередной зуб, врач отчего-то не спросил давно привычное. Тогда я благодарно улыбнулась ему и еще благодарнее пропела:

— Ди-и-во. Нижний зуб не мешает!

На крыльце поликлиники вспомнила: нижний зуб прошлый год удалила.

ВСЕ СОЖРУТ

Евдокия Николаевна принимает гостей. Женщина она улыбочивая, хозяйка хлебосольная и повариха искуснейшая. Гости все время просили добавки, и хозяйка сдобным колобком каталась между столовой и кухней, купая свои большие пальцы в каждой тарелке. Я тоже незаметно проглотила борщ и решила помочь хозяйке. Схватила тарелку ближнего соседа и разлетелась с подносом на кухню. Хозяйка порскнула тарелку на кухонный стол, взяла чью-то грязную, турнула из нее тараканов, налила борща до краев, поставила тарелку на поднос, вытерла пальцы о фартук и, слегка выталкивая меня в гостевой зал, заприговаривала:

— Несите, несите, все сожрут.

ПОЧТАРКА

Почтой в поселке заведовала молодая симпатичная женщина Зоя, была у нее и помощница. Их в поселке называли почтарками. О них шла дурная слава по части выпивки и мужчин.

Зоя была в общении грубовата, хитра, но довольно начитана. В силу этого и некоторой поселковой отринутости замечала многое, что проходило мимо моего внимания. С ней было мало уютно, но интересно. Спустя время Зоя вышла замуж. Вскоре мы оказались в кино вместе с Зоей. По дороге к дому она свысока, впервые и на полном серьезе стала передавать мне последние известия про холостых и семейных женщин, которые, по мнению Зои, излишне увлекались пьянкой и мужчинами.

Желая как-то сменить тошнотную пластинку, втиснулась в паузу Зоино монолога:

— Отчего ты одна, без подружки?

Зоя вспыхнула, крутанулась посреди тротуара, дернула вверх подбородок и уронила с высоты своих метра семи-десяти:

— Что мой муж подумает, если я пойду рядом с такой б...?

ТЯЖЕЛЫЙ ВЗГЛЯД

Очередь в химчистку была длинной-предлинной. Две девчушки: одна старше трех лет, другая младше пяти играли в просторной приемной, а чаще того стояли на проходе, мило гримасничая и разглядывая очередь. Взрослые дружно ворчали на девчушек. Старшенькую взяла за ручку мама и поставила рядом с собой, даже постояла рядом с ней на корточках, успокаивая. Малышку, как тряпичную куклу, только что не крючком одного пальца, схватил мужчина, хорошенько поддал под тощий задок и, как гвоздик, одним махом вбил в узкое пространство между столиком и креслом. Потом опять сел на кресло, положил на колени ворох о-очень приличного барахла и закрыл глаза. Малышка облокотилась на столик и легла личиком на ладошки.

Спустя время мужчина решил поразмяться и шибанул ворох одежды на спинку кресла, одежда смаху хлопнула малышку по голове. Девчушка несмело выглянула из-за кресла, потом как-то потиснулась в своем стоячем карцере и концы одежды опали вниз. Малышка опять легла личиком на ладошки, мужчина сидел в кресле.

В это время сдала свои вещи женщина пенсионного возраста, подошла к безмятежному папе и почти плача начала:

— Как вы только можете? Каменное сердце! Неужели вам не жалко?

Схватившись за собственное сердце и всхлипывая, жен-

щина, пошла к выходу. Очередь заволновалась, тогда мама второй девчушки шепнула:

— Не говорите ничего, он ей не родной.

Лицо говорившей было безмятежно. Светились лукавством и счастьем глаза ее дочери, которую она стала ласкать несколько показушно. Из-за кресел, на шум, тянула шейку маленькая заточенка. У нее были глаза раненой птицы: молящие, ждущие и не любящие.

Тяжелый взгляд.

БЕЗГОЛОВЫЙ МАНЕКЕН

Работала у нас одна молодая женщина, ее звали Тоня. Она по несколько раз на дню упоминала о том, что у нее высшее образование. Много читала, а разговаривала на уровне малограмотного человека. Хамила тактичным, заискивала с нахрапистыми, болела чинопочтанием, могла от пустяка всерьез расплакаться и начать с обидой приговаривать:

— Я не глупее вас, у меня высшее образование!

Через неделю-другую я не принимала Тоню всерьез, а по первости она доставила мне несколько неприятных мгновений. После одного из них я для чего-то заскочила в универмаг. Бежала мимо отдела готового платья и застыла перед безголовым манекеном. Он чем-то смушал меня, таких нефильтикультяпистых манекенов я больше нигде не видела. Пальто на нем серое, в клеточку, из тонкой шерсти, а выглядело пальтовой тканью. На «пальтовой» ткани нелепо смотрелся белый кружевной воротничок, грудка поднята слишком высоко, задок, бока и живот излишне выпирали, поясок туго и тупо перетягивал эту мертвую мясистость, ровный подол виделся неровным. Какой-то шутник забавно приподнял ручки манекена: он словно бы отмахивался от покупателей.

— Не смотрите на меня в упор, у меня ведь высшее образование!

МАМА ИЗ ДЕТДОМА

Евфалия Павловна выросла в детском доме, там и работала больше тридцати лет. В конце семидесятых сирот стало мало, детдом закрыли, а Евфалия Павловна перешла в наш обычный детский сад. Ее поставили на младшую

группу, к Римме Александровне — старой деве, интересной, неглупой, но очень уж недоброй.

В первый же тихий час, уложив и убаюкав своих малышей, Евфалия Павловна отметила непонятный шум в соседних группах. На цыпочках обежала второй этаж, спустилась вниз — заведующей и медсестер в садике не было, почти все воспитательницы толпились в нижнем коридоре, около кухни.

На первом общем собрании Евфалия Павловна открыто и чистосердечно, по-детдомовски, поделилась с новыми товарищами по работе своими невеселыми наблюдениями.

Сама Евфалия Павловна могла быть образцом для подражания: в первую смену приходила на час раньше — готовилась к занятиям, после смены засиживалась в группе. Занималась цветами и птичками-рыбками, наводила порядок в игровых комнатах, штопала, шила, вязала или стирала-гладила одежду кукол, оформляла групповую или раздевалку. Работы хватало, но Римма Александровна оказалась под постоянным контролем и раздражалась. Евфалия Павловна относилась к нервам Риммы Александровны уважительно, но и дальше шла своим путем. После второй смены тоже сидела допоздна, раздражая уже сторожей-дворников.

Евфалия Павловна была такого малого росточка, что даже полутораметровые коротышки зрили на нее свысока, на ее жиденькие от возраста и пеговатые от рождения волосики.

Куда большую любовь и фантазию внесла природа в создание глаз Евфалии Павловны: тиха была их глубинная нежность, насыщена добротой и жизнью теплота бархатного зеленого зрачка.

С таким же пылом взялась природа-лапушка за создание носика, да на одно мгновение отвернулась и ноздри получились столь велики, что из боязни утонуть в них, человек отворачивался.

Глянув, прелестница испуганно ахнула, а меж ее пальчиков проскользнуло столько материала, что и на два рта хватило бы.

Зато уж широконые желтоватые зубки Евфалии Павловны природа-матушка удержала до завершения в своих добрых ладонях. Не потому ли Евфалия Павловна и любила смеяться, но, святая простота, контролировать себя при этом не умела, смеялась тоже искренне, как жила.

Ее короткие волосики, изо дня в день только живописно растрепанные, в момент смеха просто кувыркались на голове.

Бровки, повторяющие волосики обилием и цветом, могли только согласно приплясывать, не сходя с корневого места. Ее кроткие зеленые глаза плотно прикрывались и обрамлялись неровной по длине и толщине бесцветной растительностью. Рот был полон желтоватых бесенят, а губы, безвольно и беспомощно подрагивали, почти закрывая маленький подбородочек и без малого касались крохотного, усиленно вибрировавшего горлышка, незаметно переходившего в крепенькую, как детский кулачок, не разбавленную детьми и любовями грудку. Еле просматривавшийся под балахонистым платьем бугорочек желудочка не отставал в веселье от грудки. Малюсенький животик, крутой горочкой выпиравший в распахнутые полы халатика, просто заходилась от смеха. Вполне искренне веселились и все неправдоподобно крохотные пальчики, на столь же маленьких ножках.

Все остальное было целомудренно скрыто под безликими юбками, доходящими до щиколоток. И вообще вся ее одежда годилась для проведения банных дней в детском доме. Интеллигентные сотрудники детского сада, глянув на веселую Евфалию Павловну, думали о ней примитивно и однобоко, малоинтеллигентные говорили вслух:

— Лягуха, да и все!

Родители оказались людьми более глубокими: вскоре каждый старался лично побеседовать с Евфалией Павловной. Она с ними говорила просто: не умасливала именами-отчествами, не сыпала общепринятыми пустопорожними комплиментами, не ахала и не охала над милыми и естественными всплесками ума-разума их ребятишек, требовала от родителей все, что считала нужным в интересах ребенка. Интересы эти были налицо: раньше трехлетнее дитя отрывали по утрам от материнской юбки в потоке слез. Сейчас, если мама не успевала перехватить партизана на полдороге, дитя от порога кидалось к Евфалии Павловне. И сразу затевалась беседа, напоминающая мурлыканье заботливой кошки с подрастающими и шаловливыми котятами.

Речь Евфалии Павловны была не особенно чиста и не особенно развита, зато изобиловала всевозможными повторами, шутками и прибаутками, стихами-коротышками. И все это естественно дополнялось горловым булькающим смехом Евфалии Павловны и звонким, как лесной ручеек, ребячьим. Ручейки незаметно сливались в речушку, грозящую выйти из берегов. Евфалия Павловна замолкала, иногда даже хмурила белесые бровки. Шумливые ручейки успокаивались.

Через месяц гордая Римма Александровна отказалась работать с Евфалией Павловной. Родители пригрозили сади-
ку сидячей забастовкой: на группе осталась Евфалия Пав-
ловна.

ВЛАДИМИР РЕШ

Кандидат философских наук, доцент, был организатором социологической службы на 23 ГПЗ. В настоящее время работает руководителем творческого коллектива в Вологодском областном обществе «Знание».



ЗАПРЕЩЕННОЕ СВИДАНИЕ

Небольшая речка с красивым названием Рядань торопливо бежит по глубокому оврагу. Русло ее протянулось на многие километры среди холмов, поросших мелкоколесьем и орешником. Громко взбулькивает она на перекатах, ныряет куда-то под берег, в камни, а потом снова радостно прорывается на свободу. Тысячи ключей питают ее, а поэтому не замерзает она и зимой, разве что где-то прихватит забереги, обросшие сосульками и очень напоминающие миниатюрный орган. И песня реки становилась мелодичнее, хрустальнее, и тревожила она многие месяцы тишину сугробов.

И сейчас весна, и речка полна через край. Важно и размашисто несет она свою струю, облизывая берега и обнажая на них красноватую глину. Но сбегут с холмов талые воды, унесет их Рядань к большим рекам, а сама снова станет маленьким ручейком, который и ребенок камушком перебросит. И опять она затинькает свои перекатные песни, словно ничего и не было...

«Так вот и в жизни,— вздыхает Руфина, сидя на высоком выступе оврага, своем излюбленном месте, куда уже многие годы приходит побыть одна, отдохнуть от мирской суеты, разговоров и пересудов, пожить воспоминаниями, а при хорошем настроении — рискнуть заглянуть еще и в будущее...

Более сорока лет смотрит Руфина в Ряданьку. Почти и жизнь прошла, а у речки ничего не изменилось. Бежит

себе и бежит, равнодушная к тому, что происходит на ее суетливых берегах...

Мысленно, словно хорошую подружку, спрашивает ее Руфина: «Куда спешишь ты, Ряданька?» И кажется Руфине, что слышит она в ответ: «Разве не видишь, разве не видишь,» — а возле запеска нежные и говорливые струйки, играя отбеленными камушками, успокаивают Руфину: «Не горюй, не горюй», и снова поют свое ласковое и привычное: «Кленьк-кли, кленьк-кли...»

Руфине сегодня особенно тяжело — ушел из жизни дорогой для нее человек. Может быть, последняя, а потому и самая дорогая любовь. Себе-то в этом Руфина давно призналась. Теперь она будет жить воспоминаниями и ожиданием свидания «там»... «Там» свидания не запретят...

А началась их любовь здесь, у этой шаловливой реки... Меньше года назад приехал Андрей в их маленький районный городок с какой-то инспекторской проверкой, и, оказалось, что приехал ей на счастье и на горе. Вошел неожиданно он в ее жизнь, даже не вошел, а ворвался. Но не так, как врывается в наши окна весенний ветер: бурно, весело и бесшабашно, захватывая всех и вся на свои порывистые крылья. Тогда и сам человек несется сломя голову, не заставляя себя особенно думать: «Куда? Зачем? Почему?» Просто мы поддаемся этому освежающему призыву. Разум на время отпускает нас, а чувства, уставшие за долгую зиму, вдруг взрываются и становятся практически неуправляемыми.

В случае с Руфиной все было иначе. Она заметила его сразу же, как только он вошел в зал. Андрей стоял в окружении учителей и местного начальства. Высокий, стройный, с застенчивой улыбкой и ниспадающей на лоб прядью седеющих волос. Серый в полоску костюм и бордовый галстук выгодно оттеняли его седину, и она его вовсе не старила, а придавала определенную импозантность.

...Вероятно, разговор уже шел какое-то время, и он говорил что-то интересное и забавное, так как все весело улыбались и всем было хорошо и уютно в просторном холле конференц-зала. А она почувствовала вдруг, что ее ноги словно налились свинцом, и она не может сделать ни шагу, поэтому стояла и все смотрела на него. Какое-то смутное беспокойство зарождалось в ее душе, но оно почему-то не тревожило сейчас Руфину, а наоборот, с нарастанием его она начинала ощущать давно забытый трепет радости, когда-то давно испытанный в юности и теперь сохранившийся в далеких уголках памяти и стареющий вместе с нею. И вот теперь эти воспоминания разом вспыхнули.

В этот момент Руфина не могла оценить и понять, что с нею происходит, лишь подсознательно ощущала, что жизни ее, спокойной и размеренной, уже не будет, что она уже не сможет теперь не думать об этом человеке...

«Стоп! Что же это я? — спросила она себя, — уставилась, как дурочка. Ведь люди кругом...» И от мысли, что кто-то может заметить и понять ее состояние, лицо Руфины полыхнуло. Опустив глаза, она потихоньку отошла к маленьким креслам, что стояли под разлапистыми пальмами.

— Что же это со мной происходит? — удивлялась она, — ведь не маленькая. Почему меня так растревожил этот человек? Что же теперь будет?...

Руфина прикрыла глаза ладонями и опустила голову. Мысли ее путались и рвались, то залетая в далекую юность, то возвращаясь в этот зал. словно резвые кузнечики, они перескакивали события и годы, смущали и тревожили...

Вдруг ей показалось, что кто-то внимательно и требовательно смотрит ей в затылок. Она резко повернулась, и на мгновение их глаза встретились. Но и этого мгновения было достаточно, чтобы Руфина сказала себе: «Все, я погибла».

Потом был вечер, небольшое застолье, и она танцевала с Андреем. Все в нем ей нравилось — и манера склонять немного голову, и легкая поддержка в вальсе, и улыбка, и все-все. После нескольких вальсов она уже не чувствовала никакой неловкости. И все вокруг казались тоже милыми и приятными людьми, что, вероятно, она бы не сказала о них в будние дни.

Когда Андрей предложил проводить ее до дому, то от неожиданности Руфина растерялась и не знала, как вести себя. Конечно, ей льстило, что вот такой большой человек, красивый, признанный, остроумный, и выбрал именно ее, хотя на вечере было много дам куда интереснее. По-женски это ей льстило, но и тревожило.

— Конечно же, надо согласиться, неудобно отказывать гостю, который сегодня уделил мне столько внимания, — Руфина боялась признаться самой себе, что внутренне она желала этого провожания, — но что он подумает? Незнакомый, в сущности, человек, а я сразу же даю согласие на провожание. Значит, дуреха и ветренница, если еще чего не похуже...

— Насколько я помню, Вы обещали показать вашу знаменитую Рядань? — деликатно напомнил Андрей.

— Да, конечно, конечно, — поспешно согласилась Руфина.

«Чего тут особенного? — подумала она. — Гость хочет посмотреть Рядань, и ничего зазорного, что я покажу реку, нет».

Они вдвоем сидели вот на этом же самом месте. И разве могла она тогда даже предположить, что все обернется так трагично? Да знай она, то и вела бы себя намного иначе, добрее и ласковее. Но, видимо, так уж устроено в этой жизни, что оценку своим действиям мы даем уже после их свершения. И не дано нам все правильно и разумно предусмотреть...

В тот вечер они много говорили, порой перебивая друг друга, словно спешили открыть свои души, найти те точки взаимопонимания, которые делают людей близкими и соединяют их на долгие годы...

Он признался Руфине, что женат, но семейная жизнь не сложилась. Надо бы развестись, да вот работу свою он очень любит, а развод по его инициативе означал бы и потерю работы.

Руфина же поведала о своей первой любви, поведала так просто, без стеснения, словно она давно знала Андрея, ждала его как судью своих ошибок и переживаний.

Ох, эта первая любовь! Она была тогда молодой учительницей в той далекой деревеньке, что затерялась среди ленинградских болот и лесов. И был парень... Даже один день без него казался мучительным и бессмысленным. Но его призвали в армию. Без всяких клятв и заверений пообещали они ждать друг друга и безмерно в это верили. Она писала ему часто, и он отвечал, но на последнем году службы переписка неожиданно прекратилась. Она продолжала посылать письма, волновалась, но ответов не было. Осенью он вернулся, однако к Руфине зашел только через месяц и сказал: «Я на тебя надеялся, верил, а ты...», — повернулся и ушел, словно плюнул в лицо. Вскоре он женился на своей деревенской девушке. Только потом, спустя много времени, она узнала от него же, как оговаривали и охаживали родственники жены и некоторые из сельчан ее — Руфину, приписывая ей все грехи смертные. Но к этому времени обида уже прошла, прошла и любовь, а поэтому она даже не выставила его за порог, внимательно выслушала, просто сказала: «Мне жаль тебя, неси свой крест сам, без меня...»

Эти разговоры с Андреем слышала только Ряданька, укутанная теплым туманным испаром бабьего лета. У дома Андрей взял ее за руку и посмотрел прямо в глаза...

«Сейчас начнет приставать? — испуганно подумала Руфина. — Боже, неужели и он — как другие?» И она уже начала

настраиваться на выслушивание привычных штампов: «Что же не приглашаете на чай? Может быть, посидим, музыку послушаем? Да мне, в сущности, и ночевать негде, гостиница уже закрыта, а стучаться неловко...»

Сколько раз Руфина слышала подобное, и ее всегда душевно корбило от сознания того, как низко падают мужики, именно мужики, ибо она уже давно не видела мужчин, разве что в кинофильмах. Всем всегда нужно было одно — удовлетворение мелкого самолюбия, очередной победы над бабьим телом. Все эти мысли мгновенно пронеслись тогда в ее сознании, и настроение стало портиться, нарастала обида и разочарование...

Заметил ли Андрей эту перемену в ней или что-либо другое руководило его поступком, но он поднес ее руку к губам и сказал: «Благодарю Вас за чудесный вечер. Надеюсь, мы еще встретимся?» Поклонился — и ушел. Руфина осталась одна в шоковой растерянности.

«Крикнуть, позвать, извиниться», — было ее первой мыслью. Но она не крикнула, не позвала...

Уже потом, в постели, в пустой комнате она неистово терзалась. Мысли путались, перескакивали с одного на другое, возвращались и снова куда-то исчезали, а на их место приходили новые. Но как только она вспоминала про последние минуты прощания, кровь прилиwała к лицу, и Руфина, закрыв глаза, металась головой по подушке, путаясь в в распушенных пышных каштановых волосах.

«Что же я наделала? Что? О боже, дурочка! Так подумать о нем, как стыдно, как стыдно...»

Сон никак не шел. Временами она забывалась в полудреме, и тогда наступали всякие видения. Ей виделось, что они с Андреем стоят на разных берегах Рядани, и им никак не соединиться. Андрей зовет ее к себе, а она почему-то медлит. Но как только начинает двигаться навстречу, тотчас смыкаются на реке две скалы, и Андрей исчезает...

* * *

Рано утром прибежала Лида и с порога загомонила:

— Руфа, это твое счастье, это твой последний шанс... Смотри, не упусти! Фу, где у тебя вода? Я больше не могу, бежала, боялась тебя дома не застать.

Она взяла сифон, наполнила стакан и залпом выпила:

— Фу, кажись, полегчало. Так вот, смотри, не упусти, а мы тебе поможем. Поможем, не сомневайся...

Она удобно расположилась в кресле в позе человека, исполнившего адски непомерный труд.

Руфина рассеянно смотрела на подругу, не совсем понимая, о чем она говорит. Молчание затягивалось...

— Ну, что ты стоишь, как истукан? Я же говорю — это твой последний шанс. Хватай, рви, мечи — он должен быть твоим!

Наконец, Руфина стала догадываться, что она говорит об Андрее.

— Да кто — «он»? И что за шанс у меня?

Лида широко раскрытыми глазами посмотрела на подругу:

— Ну, не дуреха ли ты? Или еще не проснулась? Или с Луны свалилась? А, может быть, от счастья сдвинулась? Я ведь говорю об этом боссе с ниспадающими локонами!

— А при чем тут он? — наконец, вымолвила Руфина, — он, я и «мой шанс», как ты говоришь?

— Как это при чем? Он выбрал тебя, хотя, согласись, там были и посимпатичнее тебя... А он выбрал кого? Это ты ничего не замечала, а мы подсчитали все твои плюсы: первый танец он танцевал с тобой — раз, танцуя с другими, глазами следил за тобой — два, за столом старался сидеть рядом — три, разговаривая с другими, был рассеянным — четыре, с вечера ушел с тобой — пять, и так далее. Ты что же, думаешь, мы не знаем, что вы до полуночи сидели у Рядани? Да об этом уже весь город знает...

— Что за люди? Ну, что за люди? Зачем им надо лезть в чужие души, окна, постели? Что у них, нет своих проблем? — начиная нервничать, размышляла Руфина, вслух же сказала:

— Даже если бы он нечаянно мной и увлекся, то это ничего бы не меняло. Он ведь женатый, а меня воровское счастье никогда не прельщало.

— Ну, что ты мне заливаешь? А? Я ли не твоя задушевная подружка? А? Ты на себя посмотри, посмотри, подойди к зеркалу, что на твоей мордашке написано?

— А что там написано?

— Влюбилась ты, вот что написано. Посмотри, ты вся горишь. Да и что сказать... Высокий, красивый мужчина, с солидной должностью и в добавок с женой расходится. Чего тебе еще надо?

То, что сообщила подруга, привело ее почти в шоковое состояние. Руфина почему-то вдруг представила Андрея одного в квартире, с черствым батоном и бутылкой кефира, среди беспорядка, и ей стало нестерпимо жаль его.

Бледность и какая-то окаменелость подруги, ее насторо-

женность и обеспокоенность встревожили Лиду, и она не нашла ничего другого, как спросить:

— Ну что ты на меня уставилась? Я тебе что-то плохое сказала? А, может быть, я чучело огородное, от которого немеют слабонервные?

— А... а...а ты откуда знаешь, что о...о...он с женой расходится? — и вопросительно посмотрела в глаза подруге.

— Мы все знаем! — твердо и с каким-то бабским задором ответила Лида. — Но если быть совсем точной, то уходит-то как раз она от него. Там у нее какая-то новая любовь объявилась, и она с этой пассией отбывает то ли на Гавайи, то ли на Майорику, то ли еще куда-то... Так что хватай его — и все тут!

Руфина опустила голову и почему-то сосредоточилась на носке своей домашней тапочки, где упорно прорывался наружу большой палец. Ей казалось, что в данный момент ничего важнее этого пальца и нет...

К реальности ее возвратил голос подруги:

— Ты, Руфина, не молчи, а подумай, — уже рассудительно втолковывала Лида, — нам с тобой скоро полвека, а дальше что? Я тебя спрашиваю! — она с силой ударила по ручке кресла.

— Не знаю, подружка, право, не знаю, — тихо и рассеянно отвечала Руфина, — но в одном уверена: сама навязываться не буду, факт! И хватит об этом разговоров...

...Уезжая последний раз, Андрей был беспечно весел, много шутил, и ничего не предвещало беды. Нежно обнимая Руфину, он был полон оптимизма и все звал ее в Ленинград: «Обязательно и непременно приезжай! Я органирую поездку на Валаам. Увидишь, как там красиво, какая чистая прозрачная вода, пожалуй, голубее твоей Ряданьки. А сосны, аж дух захватывает, таких у вас нет. Знаешь, какие это сосны», — и он разводил во всю ширь свои большие руки, словно хотел показать и мощь столетних сосен, и простор Ладожского озера, и синее небо Карелии. Но опустил он их нежно на плечи Руфины. Это она помнила отчетливо. Его руки всегда были ласковыми и воздушно легкими. Иногда их прикосновение почему-то напоминало ей человека, осторожно снимающего пушинку с только что купленного костюма. В тот раз он нежно привлек ее к себе и при всех поцеловал. Это был их последний поцелуй...

«Боже, боже, — вздохнула Руфина, — сколько лет я ждала таких поцелуев, такого внимания, таких рук — и надо же! Ну не везет и все тут. Проклятая я, что ли? Ведь никому плохого не делала, а вот поди ж ты... Чем я хуже других?

Ведь посмотреть на иную — так ни кожи, ни рожи, а счастлива: семья, дети, муж — и все чинно и благородно. Куда же мужики смотрят? Наверно, правильно говорят: не родись красивой, а родись счастливой!»

Первый раз он поцеловал ее тут, вот на этом самом обрыве, когда приехал во второй раз. И тогда Руфина поняла, что с этим поцелуем она погибает, тем более, что она не отстранилась, а сама пошла навстречу, и тем самым подписала себе приговор...

Он уезжал, а она оставалась. Потом долгими зимними ночами она разговаривала с ним, то сердясь, то доказывая что-то свое. Воображение Руфины всегда ставило ее рядом с Андреем, и по ее понятию и разумению они всегда приходили к обоюдному согласию, и все у них было хорошо. Она жила и действовала, поступала через призму его, Андрея, оценки — «Как бы поступил он, что бы сказал?». Его не было рядом, но он всегда жил в воображении Руфины, в ее надеждах на встречу...

— А теперь вот и надежды нет. Чем жить? — спрашивала она себя.

* * *

Печальную весть об Андрее принесла все та же Лида. Обычно она влетала в ее кабинет шумно, весело и болтала без умолку всякую всячину. А сегодня она вошла незаметно, сосредоточенная, тихо прикрыла дверь. Руфина мельком взглянула на подругу и обрадованно произнесла:

— А, это ты! Вот и хорошо! Заходи, садись, я сейчас освобожусь, вот только абзац допишу, а то завтра надо с докладом выступить, — и она продолжала писать.

Но вдруг какая-то тревога начала подниматься в ее душе. «С чего бы это? Ведь у меня все нормально», — она медленно подняла глаза на подругу. Лида сидела, опустив голову и бессмысленно перебирая складки на своей гофрированной юбке. Весь ее вид выражал большую уdrученность. Это сразу обеспокоило Руфину. Она отложила в сторону ручку, устало откинулась на спинку стула и участливо спросила:

— Лидушка, случилось что?

— Случилось, Руфа, случилось, — произнесла та тихим и упавшим голосом, — беда приключилась с твоим Андреем...

Руфина медленно проднялась:

— Что с ним, погиб?

— Нет, не погиб. Ночью был инфаркт, сейчас он в реанимации. Только что позвонили из Ленинграда.

— Лидочка, что ты говоришь, какой инфаркт, какая реанимация? — дрожащим голосом переспрашивала Руфина. — Это, наверное, ошибка... Ну скажи, ошибка? Это не он, не Андрей? Правда? — и она с тайной надеждой на ошибку моляще смотрела на подругу.

— Руфа, дорогая, так не шутят, ты же сама понимаешь!

— Да-да, конечно, так не шутят, — и она тяжело опустилась на стул, а потом вскрикнула, — так что же мы сидим? Надо же немедленно ехать к нему? Может быть, ему нужна кровь? Слышишь ты меня? Надо срочно... — и она нервно и поспешно стала собирать разбросанные по столу бумаги. Они падали, но всегда аккуратная Руфа этого не замечала. Слезы, крупные слезы, капали на стол, на ее руки.

— Куда же ехать, Руфа? Ты подумай сама — завтра у тебя доклад, да и в больницу они тебя не пустят. Это же не простая больница, а для избранных. Свидание твое все равно не состоится, тебе его просто запретят. Да и что ты можешь сделать, чем ему помочь?

— Ну и пусть, ну и пусть, — упрямо твердила Руфина, продолжая свое дело...

Только через два дня смогла она выехать в Ленинград. Больницу она нашла сравнительно быстро. Сверила данный ей адрес — и все совпало. Здание было огромное, многоэтажное, с колоннами, в сталинском архитектурном стиле. Справа и слева виднелись постройки из белого кирпича, воздвигнутые уже в настоящее время и смотревшиеся прямоугольными коробками. Ансамбля явно не получилось, однако все сооружения давили взгляд своей монументальностью. К тому же были они окаймлены высоким забором в четыре кирпича и цепочкой железных пик, грозно устремленных в небо. Руфина нашла в себе силы удивиться: «Забор с пиками — он-то зачем? Что же здесь — психи лежат? Наверное, нет... А больной отсюда не убежит, он — счастливчик, у него надежды выжить больше, чем у того, кто в простой больнице ждет своего приговора. Забор от людских глаз, наверное, чтобы не все видели и не все знали, а когда не видишь и не знаешь, то и на душе спокойнее, а так — одна сумятица. Ну, а с другой стороны, от народа ничего не скроешь, сообразительный стал, головой напролом не лезет, но и ничего не забывает...»

Она шла вдоль унылого забора, и шаг ее был тихий и осторожный, словно боялась Руфина что-то нарушить в этом гнетущем спокойствии. Так ходит человек в незнакомой темной комнате, постоянно боясь наткнуться на что-

нибудь. Она прошла решетчатые ворота и остановилась. Осмотрелась. Слева была художественно оформленная табличка «Приемный покой».

«Покой, покой»,— мысленно повторяла Руфина, словно хотела навсегда запомнить эту вывеску — «покой» — и на сердце стало еще тревожнее...

Осторожно ступая, она поднялась на полукрыльцо и вошла в дверь. Первое, что она увидела — был вахтер, со скучающим видом, сидящий в просторном мягком кресле. Он тут же по-военному поднялся, вспомнил о своей обязанности и спросил: «Ваш пропуск, гражданочка!».

Руфина даже растерялась от такого категорического требования:

— К...к...какой пропуск? У меня нет никакого пропуска. Я к...

— Меня не интересует, к кому вы, вход только по разрешению,— и не дожидаясь ответа, показал на маленькую полированную дверь:— Пройдите туда!

Руфина вошла в довольно просторную комнату со множеством различных окошечек, поролоновых сидений, кресел и журнальных столиков. За одним из таких столиков сидели двое. Женщина постоянно прикладывала платок к глазам, а мужчина успокаивал ее, нежно глядя ладони...

«Счастливые,— почему-то позавидовала Руфина,— неужели и я вот так смогу сидеть с Андреем?» Однако мечты ее были тут же прерваны требовательным, не терпящим промедления голосом:

— Вы к кому, гражданка? — спросило лицо в амбразуре окошечка.

Руфина вздрогнула и поспешила на голос. В одно мгновение она изложила свою просьбу.

— А вы кто ему будете?

Наступило молчание... Уезжая сюда, она понимала, что такой вопрос рано или поздно где-нибудь возникнет, обязательно возникнет. Но какой дать ответ? Руфина боялась этого вопроса и старалась даже себе его не задавать. И вот он поставлен, и надо отвечать, отвечать искренне и доверительно.

«Кто же я ему на самом деле? — лихорадочно работала мысль — Жена? Нет! Любовница? Тоже нет. Любимая? Но как сказать? Он мой любимый? Тогда кто же я ему?»

А голос женщины в окошечке настойчиво требовал:

— Гражданка, я вас спрашиваю, кем вам приходится больной: муж, брат, сват, любовник?

— Я... я... я просто его, знакомая и очень хочу его

видеть. Вы женщина и должны меня понять,— умоляюще отвечала Руфина.

— А...— равнодушно протянуло лицо в окошечке.— Тогда все понятно. У нас, гражданочка, просто знакомым свидания запрещены.

Крахмальная занавеска задернулась, лицо в окошечке исчезло. Неподвижная и растерянная, осталась стоять Руфина, а в ее голове неотступно, словно молоточки по наковальне, билось одно и то же: «Запрещены, запрещены... Свидания с просто знакомыми запрещены». Чтобы не упасть, Руфина прислонилась к стене. Тишина, видимо, насторожила и сидящих, так как женщина подняла голову и, увидев растерянное и побледневшее лицо Руфины, поспешно встала, подошла к ней и участливо спросила:

— Что с Вами, Вам плохо?

— Не-нет, ничего, я сейчас...

— Да Вы сядьте,— и она бережно, словно ребенка, подвела Руфину к креслу.— Отдохните, успокойтесь, все еще, может быть, обойдется.

— Что обойдется, что может обойтись? — тихо и обреченно прошептала Руфина, облокотясь на столик, опустила голову и замерла.

Из транса ее вывел яркий свет вдруг неожиданно вспыхнувшего табло — «Состояние больных на сегодня».

«Боже, что же это я сижу?»— Руфина поспешно встала и почти подбежала к светящейся таблице с показателями температуры, давления и прочими свидетельствами жизни и смерти. Она моментально пробежала список сверху вниз и обратно, но фамилии Андрея не обнаружила.

— Да где же он?

Руфина еще раз медленно просмотрела список и снова ничего не нашла...

* * *

«На погосте всех не оплачешь. Кто же это и когда сказал?»— размышляла Руфина, сидя в ограде на свежеевыкрашенной скамеечке у могилы Андрея. Пахло краской, прелой травой и весной. Громко и азартно гомонила огромная стая ворон и галок, которые заняли вторые этажи на кладбищенских соснах и березах, готовясь к новому потомству. Хотя уже наступали сумерки, но суета не прекращалась. Ди и какое воронам дело до всего здесь происходящего...



МИХАИЛ КОЛОСОВ

Родился в 1948 году в селе Шонга Кичм.-Городецкого района Вологодской области. Учился в Милофеновской восьмилетней школе Никольского района и Абрамцевском художественно-промышленном училище Московской области.

Печатался в многотиражных, районных и областных газетах. В 1985—1986 гг. работал в редакции газеты «Вологодский подшивник». Член Союза журналистов СССР. Живет в Вологде.

ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Лечащий врач появлялся на отделении крайне редко. Он проходил по палатам, отмечая в карточках живых и мертвых, и снова исчезал по неотложным делам. И если вы скажете, что это неправда, то поговорите с любым лечащим врачом и увидите, что личных дел у него ничуть не меньше ваших.

Так это на самом деле или иначе, но то, что около полудня из дверей горбольницы вышел небритый, немытый, дурно пахнущий гражданин — совершенно точно, как точно и то, что звали его Виктором Ивановичем Шиловским и что он был просто советским пенсионером среднего возраста, и у этого пенсионера «барахлил мотор», и по этой самой причине Виктор Иванович уже второй раз обращался к медикам, которым, признаться, тайно не доверял.

Ну взять хотя бы сегодняшний случай. После завтрака в палату вошли два новеньких медбрата. Они принесли какие-то новые таблетки. Принесли, разложили по тумбочкам и направились к выходу. Виктор Иванович остановил.

— Ребята, а как их принимать-то? Обе сразу?

— Наверное, — нерешительно произнес медбрат, заглянув в какую-то бумажку.

— Нет, — сказал Виктор Иванович, — наверное, все-таки по одной.

— Можно и по одной, — сказал другой медбрат.

— Меня выписывают сегодня, — доверился Виктор Иванович, — так может, обойдемся без пилюль? Они вот уже где, — и он показал, где у него пилюли.

— Как хотите,— сказал нерешительный медбрат и посмотрел на другого.

— Это точно. И вообще, чтоб болеть, нужно здоровье иметь,— сказал другой медбрат, и они понесли лекарство дальше.

Виктор Иванович вяло улыбнулся затасканной шутке и подумал: «Ну, что эти пареньки — зелень еще, обслуга, хотя вреда и от нее порядочно, но и польза, что говорить, немалая. Может быть. Это уж какое у них настроение. Салаги, одним словом, не то, что доктора. Эти-то люди серьезные, что и говорить!..»

Однажды вечером зашла в палату солидная вроде бы врачиха, дежурная, как оказалось, смирала давление. Шиловский спросил:

— Ну, как?

— 190 на 130,— сказала врачиха и вышла.

Следом зашел врач помоложе. Может, ухажер, может, дежурили вместе или еще что — не это важно. Он тоже померил давление, и Шиловский, по привычке уже, спросил:

— Сколько?

— 130 на 190,— занятым голосом ответил врач и тоже навсегда вышел.

Виктор Иванович позднее узнал и даже записал имена этих людей, но скандала устраивать не стал: все равно ничего не докажешь, а здоровью своему навредишь. Помирать, конечно, все равно придется, и не все ли равно, от чего помирать — от давления, от пустой головы лекаря или от старости, но все-таки... по-человечески вроде как-то лучше, без скандалов-то.

А где-то с год назад больничный доктор выписал лекарство и отправил долечиваться домой, участковый врач, глядя в рецепты, закачал зачем-то головой, но не возразил против лекарства, а знакомый врач, почти приятель, прописал еще одно и сказал довольно серьезно:

— Плюнь на эту дребедень, брось себя морить, не бери в голову, иди-ка в магазин, купи бутылку коньяка, и — потихоньку, без запоев...

На крыльце больницы Виктор Иванович остановился смахнуть пыль со смятых брюк. Затем порылся в карманах пиджака времен застоя, нашарил чинарик цвета асфальта, спустился с крыльца и присел на скамейку рядом с молодым человеком в больничной пижаме.

— Выписался, что ли? — равнодушно спросила пижама.

— Выписали,— хмуро ответил Виктор Иванович.

— Ну и как?

— А так... Во, видишь, рецепт на два лекарства? Четырнадцать рэ, а вот еще рецепты...

— Че психуешь-то? На пенсии, что ли?

— На ней самой, семьдесят рубликов.

— Ну, дед, ты даешь! — восхитилась пижама, и, помолчав, тихо и серьезно добавила:

— Мне на процедуры пора, извини.

— Иди, иди, — добродушно сказал ему вслед Виктор Иванович. Он глотнул дым «чинарика» и тут же втоптал окурок в асфальт.

— А вот что если еще раз? — подумалось ему. — Вот в эту простую больницу еще раз привезут меня...

Он даже усмехнулся почти весело: надо подготовиться заранее...

— Пиджак с собой брать не обязательно, а вот рубаху надо, — в шутку и всерьез стал рассуждать Виктор Иванович. — Не, рубах надо две — на себя и сменную, кальсо-нами бы разжиться, а то здесь не дают. И трусы, и полотенце даже не предложили. Если упекут месяца на два, полотенцев полдюжины надо, да платков носовых дюжину, да бритвенных лезвий хотя бы по штуке на неделю, да мыло, ложку, стакан или кружку. Кружка лучше, на ней фамилию можно процарапать и не бьется... Еще вот бы радио, пару запасных лампочек, исправный унитаз, половую тряпку, смену наволочек, корвалола запас, да пилюль от давления, а то пока дозовешься — ноги протянуть можно. А где продают эти «утки» да «судна»? Вот сделают лежачим, и этого добра может не достаться. Закон подлости: не нужны — пожалуйста, прижало — фиг достанешь... Еще бы тапки, зубную щетку с пастой, мусорную корзину для палаты... Ножницы обязательно, пузырек бы одеколona, чайку бы пачку, пару десятков рублями — мало ли что такое-сякое.

Шиловский прикинул стоимость перечисленного дефицита — присвистнул.

— Пусть уж так, — нехотя согласился Виктор Иванович, — да и что такого, ничего особенного ведь, подумаешь — за полтора месяца не подстригли, не помыли, ничего такого не предложили, пусть так, ведь и с меня ничего не требовали: лежишь — лежи, помереть надо — мри, только не шуми, да водку не пей.

— Э-э, нет! — вдруг возмутилось сознание Шиловского, — эдак к бардаку привыкну и дома буду халява халявой.

Халявства допускать было нельзя: Виктор Иванович был не только пенсионер, но еще и отец-одиночка. Это для

сына в карманах брюк лежали сэкономленные бруски рафинада и две конфеты «Буревестник».

— Двенадцатый год Кольке пошел,— грустно подумалось Виктору Ивановичу,— двоек не носит, вообще молодец, особенно в математике... И в мать весь.

— А, черт! — вдруг сказал Виктор Иванович и быстро поднялся.

Не обращая внимания на больных и просто прохожих, он сделал несколько суетливых шагов в сторону больничного крыльца, но, шатнувшись, повернул влево и тихонько пошел в сторону ближайшей аптеки.

Он шел и как-то удивленно, непривычно, неожиданно и светло думал, что даже когда сердиться или сожалеешь о чем-то, и даже когда болит зуб, и душа, и палец, и когда болят сразу два зуба, душа и палец, то, ей-богу, мир все равно очень даже неплох.

— Так и скажу Кольке, если не забуду. Вот ведь как. А что, не так разве? Господи ты боже мой... Ух ты... Он шел свои последние полквартала.

РАССКАЗЫ ДЯДЮШКИ РОБЫ

Яма

В Сибири дело было.

Молодой я тогда был, но — уже женатый.

Пастушил, коров пас.

Бойкий был, резвее самих коров. За хвосты их таскал, верхом катался — не было ума-то. А коли нет ума — поверх кожи не пришьешь...

Пришло лето. Прошло лето.

Зима на подходе. Зимой коров не пасут. Остаюсь как будто без дела.

Решил охотой заняться.

Знакомый охотник, Женя его звали, посоветовал мне накопать ям в земле. Три метра глубиной, а по земле — два на два. Замаскируй, говорит, эти ямы лапником да ветками, снегом их засыплет, пойдет коза дикая и — готово! — в яме.

Про дикую козу я слышал, что вкусна больно. Самому пробовать не доводилось, а говаривали, что суп из дикой козлятины и поцелуй девушки — одинаково сладки.

Я три ямы выкопал. Жинка немного помогла. А ежели честно, то одна и копала...

Выпал снег.

А я, признаться, путем-то и не приметил, где ямы выкопаны, приблизительно знаю, а чтоб точно указать — не могу. Под снегом все одинаково стало. Хожу, посматриваю, а сам думаю, как бы самому-то не попасть.

Я хожу, и козы ходят.

Козы ходят и, как ни странно, в ямы не попадают.

Я к Жене за советом. Он говорит:

— Пустяки, твоей беде помочь можно. Веники у тебя есть?

— Какие веники?

— Обыкновенные. В бане-то паришься?

— Обязательно.

— Ну так вот, возьми веник и натыкай по краям ямы веточек. Листочки на них зелененькие, коза к ним потянется, и — тут как тут.

Добро. Пришел я в лес, нашел ямы, стал тыкать. До того дотыкал, что сам в яму-то и пал.

Пал в яму. Лежу с закрытыми глазами, думаю: ну вот и конец пришел, когда-то еще меня спохватятся, найдут да вытащат...

Открыл глаза, вверх глянул, а оттуда жердина свисает. Подпрыгнул я, ухватился за жердину, вылез.

Одна яма, выходит, сработала.

Осталось две.

Я опять козу жду. Должна же хоть одна коза в две-то ямы попасть.

Коза не попала. Попал Женя. Тот самый, который мне советы-то давал. Ехал по лесу, да вместе с лыжами и ухнул в яму.

Жду опять козу... Нет-нет, да схожу, проверю. Нет козы, не попадает.

Летом эта яма сработала.

Корова в нее попала. Из тех, что пас. Пришлось яму портить — подрыл склон, чтоб буренка вышла...

С тех пор такой охотой не занимаюсь. Отшибло всякое желание. И то, не зря говорят: не рой другому яму...

Тулуп

Брат мой Федька на северных островах был. На метеостанции.

Посмотрел однажды температуру в будке, записал что надо в тетрадку, надел белый тулуп и пошел в соседний поселок. Там тоже синоптики жили.

Идти Федьке километра этак полтора. Он и идет себе не

ходко. В белом тулупе на белом снегу его и не видать вовсе. Даром, что и день.

Медведь увидал. Подошел к Фedyке сзади, хлоп его лапой по загривку. Федька упал, медведь взял тулуп на клык и потащил в сторону.

Ташит и ташит. Федька очухался, руки этак сделал, тулуп-от с него и слез. Медведь потащил тулуп без брата. Сели синоптики на вездеход — и в погоню. Видят — сидит медведь и сидит как будто в тулупе...

Потом ревизия приехала. Искали и тулуп, для отчетности. Шкура медвежья была, тулуп так и не отыскался...

Веселый народ

— Веселый народ — русские. Рыбу ловят — смеются. Лес валят — смеются. Зверя бьют — смеются.

Уж ловить нечего, лес весь под топором пал, зверя не стало, а они — хохочут.

Выхлопом машинным, никотином, прочей гадостью весь воздух загазовали, дышать нечем — а они смеются.

Такое веселье напало, что и не остановиться. Только и утешаться, что плясать перестали — силы берегут.

Случись драка — смешно, и в драке — смех, лишь после задумаются: неладно делали, веселей бы надо!

Глядишь, уж бутылка на столе, с врагом своим недавним булькают стопочки и опять... хохочут.

А что сделаешь?

У меня соседка была. Дуней звали. Старая уж совсем, а все работала. Сторожем на ферме.

С памятью у нее худо было. Залезла однажды на собственную печь, поспала там, а как обратно-то с печки слезть — не помнит. Заблудилась ну-ко на печи-то. Ей уж на работу надо идти, а она никак приступков-ступенек-то с печки найти не может. Нет их, не стало.

Дуня заревела, а потом завернулась в полушубок, на котором спала-то, завернулась, да и — бух! — с печи на пол. Это, ну-ка, нарочно-то! Добро хоть по приступкам-то сбрыкала, не так лихо было. А голову ушибла-таки.

С памятью у Дуни еще хуже стало. А жила она у сына тогда. Сын бобыль был, так вдвоем и жили.

Сын утром выставит щи из печки, нальет шей в блюдо, картошку выставит жареную, молоко.

— Ешь, мама,— а сам на работу пошкандыбает.

Я, бывало, зайду к Дуне-то, а она жалуется:
— Худо у сына-то. Не кормит совсем.
— Как не кормит? Лико на столе-то.
— Это я тайком от него наварила, он-от не дает. Худо живу, парень, совсем худо. И бьет он меня, когда пьяный-то.
А сын и не пил вовсе.
Так Дуня и жила. До девяноста ну-ка годов. Худо жила из-за памяти-то.
А что сделаешь?..

КТО ТЫ ТАКОЙ?

Все шло как обычно. Они служили в одном учреждении одного города, служили на разных должностях, но это ни в коем случае не мешало общаться, они даже здоровались за руку:

- Здравствуй, Михал Михалыч!
- Здравствуй, Олег Дмитрич!
- Опять на территории куришь?
- Ну что вы, Олег Дмитрич...

А Олег Дмитрич Самоваров пальчиком эдак помашет и скажет ласково:

- Смотри у меня...

Ну чем не гармония душ? В общем, знакомство их было не шапочное, и все бы ладно, так продолжалось бы и дальше, но однажды возник... вопрос.

Это случилось ясным весенним днем. Мишкин стоял у ворот КПП и жмурился от теплого солнышка. Слабый ветерок игриво шевелил ветви одинокого тополя, сторожевой пес Шарик молча гонял ворон, а от штаба шел знакомый человек в офицерской шинели. У офицера был дипломат с тушенкой, по четыре светлых звезды на погонах и такая же светлая голова. Глаза были полны любознательности, а сердце переполнено добротой и жаждой всего нового и прогрессивного.

— Каков молодец! — восхитился вольнонаемный Мишкин. — Орел! Этот мух не ловит...

Капитан поравнялся с Мишкиным, прищурил левый глаз и обронил:

- Кто ты такой?

— На обед шагать изволите, Олег Дмитрич? — не заметил вопроса Мишкин.

— Кто ты такой? — снова спросил капитан и посмотрел на Мишкина со стальной благожелательностью.

— Начальник смены сторожевой охраны Михаил Михалыч Мишкин! — бодро ответил Мишкин.

— Это ты дома Миша Мишкин, — сказал капитан. — А здесь ты дерьмо и тряпка.

— Да бог с вами, Олег Дмитрич, — сказал Мишкин. — Вы что, не узнали меня?

— А кто ты такой? — спросил капитан, глядя на Мишкина умными осуждающими глазами.

Мишкин склонил полуседую голову и всем нутром ощутил, что капитан делает из него... муху. Он ведь орел, мух не ловит — совсем растерянно подумалось Мишкину и вздрогнулось от очередного вопроса:

— Кто ты такой?

— Мальчишка, — думал Мишкин, — молокосос, воришка... Теперь из мухи сделает слона. — И Мишкин невольно улыбнулся в прокуренные усы.

— Убери зубы! — воскликнул капитан Самоваров. — Кто ты такой?

Уже довольно старый, но еще молодой человек, Мишкин приходился капитану вроде старшего брата, а жизненный опыт Мишкина иногда позволял находить выход из труднейших жизненных тупиков, но вот ответа на подобный вопрос у Мишкина не было, и он очень огорчился по этому поводу, ему даже захотелось кое в чем признаться.

— Я болван, — хотелось признаться ему. — Я такой же болван, как и ты. Только ты болван с погонами.

Но такое можно сказать только закадычному приятелю. А как быть, если перед тобой стоит вот такой неприятель? И если в постановке вопроса существует все-таки какая-то непонятная спорность... и еще эта неясность реакции на возможный ответ.

— Кто ты такой?

Если я ему как старший брат, то явно неродной. И не любимый. И не очень уважаемый...

— Товарищ капитан...

— Серый волк тебе товарищ! Кто ты такой? — спрашивал капитан, и чувствовалось, что он пьянеет от собственного вопроса.

Мишкина душа вдруг заскулила от сознания того, что принадлежит такому немолодому дураку, который наверняка низкий, коварный и очень опасный тип, и сам об этом не может догадаться, а капитан что-то знает, иначе не пытал бы таким хитромудрым способом, не ходил бы вокруг сузовыми шагами.

А может, сказать что-нибудь общим кратким выражением? Но Мишкин тут же отбросил эту вздорную мысль, ведь капитан-то не ругался матом, не тряс за грудки, не бил Мишкина по шее и почкам, наоборот, в свете дня было ясно видно, что капитан из тех самых офицеров, которые не терпят насилия над личностью. На его лице читались благородство, достоинство и другие прекрасные качества советского офицера.

С высоты офицерского звания всегда видней, кто перед офицером стоит, и мало ли какая гадость может офицеру привидеться, дело житейское, но все-таки...

— Может, довольно, капитан? Пошутил, и хватит,— хотелось сказать Мишкину. И он бы сказал, но вдруг чихнул. Негромко, вполсилы.

— Что ты сказал? Повтори, что сказал! — капитан испытал сильнейшее душевное потрясение.— Что ты сказал? Да кто ты такой?

Мишкин приложил правую руку к левой стороне груди и решительно приготовился сказать, что да, капитан прав, перед ним, конечно, не он, не Мишкин, но не успел.

— Да ты просто пенсионер! — сказал капитан, брезгливо оглядывая Мишкина.— Отвечай! Кто ты такой? Ну!

— Что — ну? — спросил вдруг Мишкин.

— Кто?

— Я?

— Нет, я! —рассердился капитан.

— Ты? — удивился Мишкин.

— Нет, ты!

— А что?

— Да ты просто нуль без палочки! У тебя тут заклепок не хватает! — капитан сдернул фуражку с головы и постукал себя кулаком по лбу. Мишкину послышался глухой звон патронов и пуль, и он подумал, что капитан, опаленный таким вдохновением, даже невооруженный может быть очень опасен. А если он еще и... хам?

Хамов Мишкин боялся.

— А ты кто? — трепеща, но с вызовом спросил он.

— Я — капитан, я — начальник отдела. Я такое проворащиваю, что даже тебе не снилось. А вот кто ты такой?

Мишкин оглядел территорию склада. Около дюжины солдат нежно смотрели на вагон со свеклой, неподалеку прохаживались бледнолицые лейтенанты, а возле гаража судорожно резвились шофера и прапорщики. Шел обычный армейский день воинского склада.

— Кто ты такой? — напирал капитан, и сам себе отвечал: — Ты мамонт! Не вымрешь — помогу!

А Мишкин думал о собаках. Бегают вокруг тебя, — думал Мишкин, — блажат в полный голос, наскакивают как этот, того гляди укусят. Замахнись на такую, еще больше разойдется, захлебнется лаем, а не укусит. Получается, что она бранит тебя как хочет, а тебе и не ответить. Не лаять же в ответ. Ну ладно, то собаки, собак без лая не бывает. А вот в Америке капитан укусил собаку. И никто особо не удивился, даже газеты ничего не писали. Просто капитан был злей собаки. И если мой капитан, — думал усталый Мишкин, — укусит сейчас Шарика, то тоже не удивлюсь. Пусть Шарик один удивляется.

— Кто ты такой? — продолжал капитан, и на его лице, словно на солнце, стали появляться темные пятна.

— Кто ты такой? — строго спрашивал капитан Саминов, и сам себе отвечал: — Ты — мамонт, да! Насмешка моей судьбы! Ты — чепчик моей бабушки!

Где тот детский садик, в котором воспитывался этот добрый, золотой прямо-таки человек? И где глаза и уши той бабушки, о чепчике которой он говорит?

— Слушай, ты! Кто ты такой?

— Я могу, конечно, сказать, — тоскливо думалось Мишкину, глядя в глаза капитана. — И если я скажу то, о чем молчу, это будет как удар в ухо. И лязг административных механизмов, и суд. Ведь тебя, такую птицу, только тронь — от меня пух и перья полетят. Потому что у нас хоть и гласность, но не совсем свобода слова, не всегда свобода и после суда. Да, наш суд самый гуманный в мире. Но его почему-то все равно боятся. Я еще ничего не сделал, а уже боюсь. Да, у наших судей ясные головы. И не у всех судей лапы. Но и в руку дают. И потом — я простой человек. А судить простого человека по человеческим законам очень даже трудно. Осудить легче. И ищи потом правду, а ее даже в ногах нет. Так что, извини, дорогой. Орел?.. Подорлик?.. Извини, Орел Самоварыч, ничего тебе не скажу. Уж лучше такая свобода, чем желание ее иметь...

Мишкин молчал. Когда есть, что сказать, то промолчать иногда не трудно. И вдруг он испугался за капитана. А ну как у него «зашкалило» всерьез и надолго? Вдруг он и других узнавать перестанет? Батюшки, это ж какая неладная штука будет, если он так и соседу, и начальству, и дома? Придет домой, улыбнется жене лучезарной офицерской улыбкой, подмигнет и скажет:

— Твое лицо мне кажется знакомым. Мы где-то встречались.

И посуровеет разом, и спросит неповторимым голосом:

— Кто ты такая?!

А если он и в штатской одежде такой же дурак? Кошмар и ужас. Надо что-то делать! Но что? Напомнить капитану, что здесь все-таки склад, а не психбольница?

И Мишкин наверняка бы напомнил, и тогда уж совершенно неясно, чем бы эта история кончилась, но у ворот склада скрипнули тормоза «газика», из машины выскочил незнакомый майор и, чеканя шаг, стремительно направился к ним.

— Орлан! — восхитился Мишкин.

Майор подошел и заговорил с капитаном командирским голосом:

— Ты что, капитан? Как мы договаривались? Моя семья по твоей вине голодать будет? А кто ты такой, чтоб моя семья из-за тебя голодала? Нет, в самом деле, а кто ты такой? Отставить! Кто ты такой?

Армейский день продолжался

МИШКИНА ОДИССЕЯ

Молодой Мишкин лежал в больнице с переломом ноги. Рядом лежал Димка. Вместе лечились, вместе режим нарушали. Подлечились и поехали к Димке в деревню. Скучно в деревне зимой.

Отец Димки запряг кобылу в розвальни, и Мишкин с Димкой поехали за несколько верст в библиотеку, которой заведовала пожилая родственница Димки, и они доверху наполнили розвальни книгами. Современной литературы набрали, классиков наших и зарубежных, и приключенческая литература, та, что пошпионистей, тоже была, в общем, было теперь чем заняться.

Мишкину уже девятнадцать было, он успел поучиться в художественном училище и несколько раз опубликоваться в районной газете.

Димка был младше Мишкина на три года.

В то время Мишкину казалось, что он довольно приобщился к искусству и литературе, поэтому и из Димки решил сделать образцового человека.

Но с чего начать, и как начать, кто из классиков поможет быстро поднять уровень подопечного?

Выбор Мишкина пал на Шекспира.

Получилось так: хочешь — не хочешь, а читай, Димка, классика. Димка не хочет, а устоять перед авторитетным напором старшего не может...

— Дим, чего читаешь? — спрашивает Мишкин.

— Да вот! — буркнет тот и покажет томик Шекспира. Вроде путем все шло, так, как надо.

Но Мишкина не проведешь. Он сам в школьные времена выделял такие штучки: возьмет от «Геометрии» обложку, вложит в нее книжку Майн Рида, — мать не налюбуется — сын за ум взялся, по пять-шесть часов кряду уроки учит.

Иногда возьмет ее сомнение, подойдет старая, глаз прищурит:

— Чего читаешь-то?

— Да гляди! — и книгу ей — обложкой, а на обложке «Зоология» или еще что — от всех учебников обложки-то были оторваны.

Так и Димка: по обложке — Шекспир, а внутри — детектив.

Временами Мишкин приходил в ужас от Димкиного невежества. Димка не знал, что настоящая продолжительность года составляет не триста шестьдесят пять дней, а 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд!..

Понравилось Мишкину быть ментором. С головой ушел в педагогику, неумоготу — хочется сделать Димку образованным человеком.

— Учи,— говорит,— монолог Гамлета наизусть!

Димка выучил.

— Понял,— спрашивает Мишкин,— какая это литература? Смысл уловил? Значенье, красоту понял?

— Ни лешего не понял,— ответил Димка.

— Дубина! Читая — вникай, думай!..

И до такой степени «заездил» он его Шекспиром, что однажды побелели у Димки губы, дернулся он к Мишкину и вlepил такую затрещину, что мелкие черные чертики как семечки из мешка посыпались.

— Читал, читал, а все без толку,— сказал Мишкин словами классика. Он не обиделся.

Хорошие друзья врагами не бывают.

Мишкин до сих пор не знает, каким человеком стал Димка — образованным или невеждой, но специальность он приобрел впоследствии очень для Мишкина неожиданную.

Димка стал сапожником.

Не заметили, как и зима прошла.

Снег растаял, ледоход прошел.

Солнышко вовсю шпарит.

Сидят Мишкин и Димка на сухой завалинке — гипсовые ноги вдоль завалинки вытянуты, мечтают.

— Хорошо бы, Дим, путешествие совершить, а?.. По Сухоне, по Северной Двине, а там — морем — до Соловецких островов.

— А еще бы лучше — кругосветку, — говорит Димка. Вошли в азарт, подсчитали приблизительно стоимость кругосветной экспедиции, получилось много тысяч.

— Ничего не получится, — вздохнули оба.

Весна продолжалась. Приближалось лето.

Не стало Мишкину удержу в деревне сидеть, ждать-терпеть, когда гипс снимут.

— Терпение — это романтическая трусость, — сказал себе Мишкин.

И стал действовать быстро и решительно.

Нашел через Димку доброго человека — замечательного мастера, и тот мастер сколотил Мишкину прочнейший плот.

На плоту будку-каюту-хижину соорудил двухметровую с покатой крышей, двои нары в будке этой, окошечки застекленные, дверей — тоже двои — сквозные — на нос и корму.

Леера веревочные протянул, мачту поставил с флагом.

На корму сделал весло рулевое из целого бревна — гребец, так весло называется.

По бортам плота — на стенах жилища — огни ходовые. По правому борту фонарь зеленый, по левому — красный. В фонарях по свече парафиновой.

А чтоб не мерз Мишкин раннелетними ночами, поставил мастер на плот и печь — большую чугунную печь с трехметровой трубой.

Сооружение плота, весь его такелаж уничтожили все Мишкины сбережения, да и было-то их — раз курице клюнуть!

Что деньги? Деньги — зло!

Мишкин жаждал славы.

Вещей у Мишкина почти не было — какие вещи из гостей да больницы?

Положил он в чемоданчик писчей бумаги побольше, карандаши, пару книг из библиотеки, просроченное удостоверение внештатного корреспондента районной газеты и накрыл все это хозяйство белой рубахой — больше ничего и не было.

А вот настроение было прекрасное. Деньги, гипс, костыли — все пустяки!

Совершенно не зная Сухоны, он полагал, что стоит дойти до Великого Устюга, а там... Там Мишкина обязательно поддержит общественность, а как иначе, ведь еще Петр Первый утверждал, что познание Родины есть честь и доблесть.

От Устюга до Архангельска Мишкин пойдет уже в ореоле славы.

В Архангельске поставит плот под белый парус и... И через несколько суток его встретят благословенные острова Белого моря, островитяне обовьют его лаврами, а плот, и костыли, и гипс поместят в музей Вологды или Архангельска. Куда именно — Мишкину было все равно...

Написал письма друзьям-приятелям: такие дела, значит, собрался вот жизнь понюхать.

Написал грамотку и матушке, что вот, мол, не осуди, благослови, отправляюсь на великое дело, и что скоро к нашему с тобой дому асфальтовую дорожку проложат...

Димка в голос ревет — с Мишкиным путешествовать хочет, а мать не пускает, отец нещадно матом кроет и мать, и Димку, и Мишкина. Соседи собираются послушать да поглазеть, посоветовать да ухмыльнуться.

А Димка между тем то чайник для Мишкина где-то стырит, то пару удочек, то пачку печенья у матери выклянчит, а в самый последний день целое ведро червей накопал для будущих Мишкиных рыбалок.

Сухона в верховьях своих оказалась чрезвычайно медленна — в половодье иной раз вспять поворачивает, так мал уклон русла.

И вот на этой медленной, потому величавой реке и случились Мишкины приключения.

Все началось почти сразу же.

В середине дня прошел шлюз, а к вечеру поймала река Мишкина в ловушку — замань. Всю ночь сидел он на плоту в узком пространстве между берегом и бонами, и пространство это во все стороны было забито бревнами, а в трех-четыре метра, за бонами — рядом же! — река несла медленные и пустынные воды и, казалось, презирала Мишкина...

Не случись поутру сплавщиков на берегу, на этом эпизоде и кончилась бы Мишкина одиссея, но мужики дали себя уговорить и, чертыхаясь, часа два тянули плот из западни-запани.

Вытянули, стоят на берегу втроем по грудь мокрые, небритые, с красными припухшими глазами, выжимаются, отряхиваются...

Эх, на водочку бы им подкинуть, того ведь и ждут, не уходят мужики-сплавщики.

Мишкин сказал тихо:

— Ну, мужики, спасибо, выручили! Пресса вас не забудет!

И услышал в ответ тихое:

— Во же сука, а?!..

Поплыл дальше.

Плывет корабль навстречу!

Он к шесту — дна не достать.

Он к веслу — бьет им по воде, загребает изо всех сил, а плот только крутится на месте и плывет, как и раньше плыл — по середине фарватера.

Пароход гудит, ход замедляет, команда и пассажиры на палубу высыпали.

А что поделать?

И такая-то громадина проходит мимо — впритирочку к плоту.

Уяснив себе бесполезность шеста и весла, Мишкин впоследствии к ним не притрагивался, а завидев судно, становился на видное место и разводил перед судном руками — ничего, мол, поделать не могу, поступай как знаешь.

Ох, и наслушался же Мишкин сухонских матюгов — вспомнит, даже теперь краснеет.

Деревню проплывает, на берегу народ собирается, кричат с берега:

— Дядька-а, куды плывешь?

Мишкин ладони рупором:

— На Соловки-и!..

А с берега в ответ:

— Дура-а-ак ты, дядька-а!..

Глушь, темнота, несознательность — что с них возьмешь...

Мишкино дощатое строение, кроме функций жилища, выполняло еще и дополнительные, от Мишкина не зависящие.

Будка эта служила парусом.

Дует ветер в корму — бежит плот, почти километр в час делает.

За поворот завернет — ветер в бок, прижмет к берегу, и не пытайся отпихнуться, словно якорями плот держит.

А если ветер встречный, то несет Мишкина обратно — против течения, пока к берегу не прижмет...

Из-за своего жилища Мишкин претерпел однажды великое унижение.

Дело было так. Принесло-причалило плот к берегу, сидит Мишкин на плоту, кашу варит, покуливает.

Из кустов мужик вышел.

Подошел поближе, присел на корточки, папиросы вытащил, закурил тоже. Сидят так, молчат, попыхивают. Мужик и спрашивает:

— Ты чего, путешествуешь?.. Али как?

Мишкин ему популярно объяснил, рассказал все увлеченно, а тот выслушал и сказал вроде даже с сожалением:

— Теперь понятно. А я, вишь, думал, уборну общественну несет. Издаля-то твоя будка ну точно как уборна.

Поддействовало это на Мишкина ошеломляюще. Но не было ни топора, ни пилы, чтобы распилить, разбить, уничтожить эту... каюту.

Пришлось смириться.

Немало помучили Мишкина и водовороты.

Выплывет плот степенно из-за поворота и, степенно же, в водоворот входит.

Водовороты обширные, вода в них медленно кругами ходит, и плот — медленно, все кругами. А помощи просить нельзя, увидят, что в гипсе, — с плота снимут. До Устья никакой помощи, ни от кого! — решил Мишкин в самом начале путешествия.

Водоворот кружится и плот кружит, на плоту Мишкин крутится, злой от бессилья, хоть бы к берегу поднесло, чтоб дров набрать да нужду справить, а река ему — фигу. И ведь по полсуток так кружило, и не поделать ничего...

Около двух тысяч километров плыть до конечной цели.

Если ранее эта цифра только радовала Мишкина, то теперь он от нее холодеет.

Все эти повороты-извилины-меандры, ничтожное течение, противные ветра, мели и водовороты очень медленно приближали его к славе.

Но бывало и так: день промучается, с мели спихиваясь по пояс в мешке полиэтиленовом, а ночь подходит и стихает ветер, и несет Мишкина иной раз по середине фарватера, никуда и ни во что не вовлекая, и все вроде бы ладно.

Только вот спать нельзя.

Мишкин сидел в своем кубрике, открыв двери на нос и корму, держал фонарик электрический. Как увидит огни редкого в эту пору судна, начинал фонариком помигивать, как подмигивать. Нечасто мигал, берег батарейку, которая и так-то работала бог знает на чем. Ну, а чтоб подстра-

ховаться, песни пел. Орал, пока не начинало в горле саднить, иначе не услышат.

Чаще всего звучало в ночной прохладе полюбившееся:
...на переднем Стенька Разин,
обнявшись с княжной сидит...

За такие ночи Мишкин проходил иной раз до полутора километров.

Так прошла неделя.

И уже понял Мишкин, что бестолкова его одиссея, хуже не бывает, но не может бросить плавучий дом свой, не хочет быть побежденным — что же Димке скажет, как в глаза ему посмотрит, как признается в своем поражении?..

Пошла вторая неделя путешествия.

Мишкин сплавлялся по два-три километра в сутки, бывало, что и того меньше.

Путь к славе был нетороплив и лежал через бедствия.

Чувствовал он себя так одиноко, так заброшенно, что на вынужденных стоянках рука сама тянулась к бумаге, чтоб сообщить друзьям о бедственном положении, но самолюбие протестовало, и вместо просьб и жалоб перо выводило такие вот глупости: «О, женщина, вот моя рука, навек отныне ваш слуга! Я вас люблю, и я богат. Мадам, пройдемте на фрегат...»

Рыба не ловилась, черви в ведре протухли, и Мишкин выбросил их вместе с ведром.

Запас продовольствия подходил к концу, и чем ближе был этот конец, тем безнадежнее становилась любовная лирика Мишкина:

Где ты,
ведьма,
дура,
кошка?..

Печальным становился Мишкин облик, печальным становился весь мир, вся планета надевала траур.

Спихивая в очередной раз плот с мели, Мишкин думал.

— Эх,— думал Мишкин,— вот было бы здорово, если бы кто-нибудь придушил меня, пока сплю.

Прошло еще несколько дней.

Мишкин высыпал последнюю пачку гречневой каши в трехлитровый чайник, туда же сыпанул остатки чая и сахара, посолил покруче, залил водой из Сухоны и сварил себе в пишу.

Получилось не очень вкусно, но зато хватило еще на шесть дней, а на седьмой день, когда в общей сложности

было пройдено всего-то километров тридцать, поднесло плот к устью реки Вологды.

Собрал Мишкин свой чемоданчик, привязал к его ручке веревку и перекинул веревку через плечо. Поехал в город, занял у знакомых немного денег и подался к матушке в деревню — сушить подмоченные чувства, судить самого себя.

ОДНАЖДЫ УТРОМ

Отметив накануне свое сорокалетие, хромой журналист Мишкин проснулся с неясной головной болью и ясным чувством неосознанной вины, которое потребовало настоятельно вспомнить день вчерашний. Память услужливо показала тихую улыбку незнакомки, и на поношенном лице Мишкина выступила краска стыда, а из груди вырвался стон, похожий на хрип больного зверя.

Жены и сына дома уже не было. Мишкин вытащил из-под себя смятый томик Толстого, встал, проковылял на кухню, налил стакан холодного чая и споткнулся взглядом о записку: «Ну и дрянь же ты,— говорилось в ней,— отвали от нас со своими праздниками, отстань от нас! Оставь ключи и катись колбаской на все четыре стороны. Зачем нам нужен такой папаша? Вот так! Всего хорошего! Я».

Мишкин взял брошенный женой карандаш и дописал: «Дура! А это — я».

«И путь тебе скажут столько же добрых слов, сколько слышал их я от тебя... во, баба-дура...— подумалось Мишкину, когда он садился за письменный стол,— я, конечно, тоже не подарок, и вообще... Я не Оленин, так и ты не Марьяна, дура ты».

Он поискал среди газет и папок чистый лист бумаги, не найдя его перевернул листок черновика о животноводстве, взял из пепельницы окуроч, прикурил, и его авторучка стала выводить вихляющиеся строчки:

— Прости великодушно,— тяжело вздыхая, писал Мишкин,— но сверху, снизу, со всех сторон слетелись ко мне твои руки, твои глаза, твои губы, слетелись, словно чудные птицы, и зимовать со мной будут...

«Какой же я гад,— почти с удовольствием подумалось Мишкину,— какая же я дрянь и сволочь». Но перед ним снова мелькнуло лицо незнакомки и он продолжил:

— Прости, если неприятно читать это,— я вовсе не хочу делать тебе ничего дурного, а только хорошее. И понимаю, что не так бы надо писать, совсем не надо, непра-

вильно все, бестолково, растерянно, все как будто в бреду, и радостно мне и больно, и нежность к тебе великая, и отчаяние от того, что не выйдешь навстречу, не протянешь руки, не скажешь: «Милый...»

Я теперь всегда и всюду буду помнить тебя,— писал Мишкин, разгоняя бег авторучки,— всегда буду желать тебе радостей и удач, счастливых мгновений и добрых друзей. Я желаю этого и сейчас, желаю искренне, поверь.

«Господи,— подумалось Мишкину,— зачем? К чему все это? Она и читать-то, может, не будет...»

А рука выводила дальше:

— Я не умею говорить комплиментов. Слово это — комплимент — нехорошее слово, странное и чужое, как алимент, резидент. А еще говорят, что комплимент — это вещество, которое адсорбируется на специфическом комплексе антитела антиген. Это у биологов или биоников... Не для тебя слово, не тебе...

«Какой блаженный, гаденький, хитренький»,— говорил себе Мишкин, не в силах остановить авторучку:

— Нас было двое. Я и ты. А потом родился Малыш — мое к тебе чувство. Я протянул Малыша тебе. «Не надо,— сказал Малыш,— она меня зарежет». Тогда я взял Малыша за руку и мы пошли. Была осень, было темно, холодно, лил дождь и свистел ветер.

Мы до сих пор бродим по холодному городу — по сквознякам площадей и улиц, бродим ночью и бродим днем. Бедному мальчику совсем не сладко со мной, он ведь понимает все, понимает и то, что я влип в историю...

«Какая, к черту, история, одни сантименты»,— упрекнул себя Мишкин и продолжал с неясной надеждой:

— Поверь, я стараюсь быть благоразумным, и даже ясно вижу, что пишу банально, но сердце не слышит голос благоразумия...

«А что дальше?» — его лоб вдруг взмок от пота, прокуренные усы нервно вздрогнули и он почти отчаянно продолжил:

— Я не люблю говорить. Разговоры выматывают и опустошают душу. Но с тобой говорить хочу. Сейчас я скажу, как люблю...

Последнее слово написалось, выдавилось на бумагу. В авторучке кончилась паста. «Вот и ладно»,— Мишкин откинулся на спинку стула и облегченно вздохнул, а через минуту продолжал уже карандашом:

— Нет, не скажу о любви своей. Я скажу о ней позже, когда ты будешь сидеть на скамейке сквера. А будет это

лет через сто, и вот тогда я тебе все скажу, и ты будешь плакать, глупая, и никто не заметит слез, потому что на дворе будет дождливая осень...

«В сквере скверная погода,— усмехнулся Мишкин, перечитав написанное,— хватит графоманить, и вообще...» Он, кряхтя, поднялся со стула и пошел на кухню. «Должна же быть хоть одна-то сигарета»,— думал Мишкин, заглядывая в шкафы и шкафчики. Взгляд накололся на записку жены, и он почти бегом вернулся к письменному столу.

— А умрем мы в один день. Об этом сказал еще Александр Грин,— написал Мишкин и замер в минутной растерянности, сознавая, что вдохновение вылетело в открытую форточку. Мишкин бросил туда же ненужную авторучку, заточил карандаш и вновь погнал его по странице:

— Улыбнись, возлюбленная моя. Возьми в ладони эти строчки и улыбнись. И пусть будет светло на душе, пусть там весною шпарит солнышко, а ненастья не будет никогда.

Чудесный сон ты, может?

Не всякому подобное приснится: лицо твое и голос твой. Твой смех, как мех, ласкает щеки мне, и я завидую чужим губам, чтоб губ твоих коснуться...

Мишкин тихо рывкнул на себя и продолжал, не в силах остановиться:

— Я так красив, так нагл, силен, желанен всеми, когда один сижу перед листом бумаги,— писал Мишкин, кривя рот недоброй усмешкой,— я — маг, я чародей! И вот уже идешь ко мне совсем нагая. Подходишь ближе, ближе... И руки я кладу на грудь твою, трепещешь ты, глаза прикрыв, а я целую их, дышу тобой, ласкаю...— Мишкин поставил это многоточие, прочитал написанное и по его лицу поползла глупая улыбка.

— Не сетуй на дерзость,— продолжал он,— ведь то ничто иное, как мечтания глупца, который вне стола вновь бестолков, уже не господин. Госпожа — лишь ты, я — раб твой, шут, чей ум одолевают страх, сомнения, тоска, который жив едва, терзаемый тревогой.

Чужой тебе, совсем чужой, я мучаю себя досадой превеликой, что в плен к тебе попал. И Данте говорил: кто не любим, любя страшнейшую испытывает муку. Милая — ты боль моя. Беда, которой рад, которая дает надежду, и верю я дурацкой ребячьей верой.

Скажи мне кто совсем недавно, что любить так буду, в лицо бы хохотал. Теперь тоска, как крыса, грызет мне душу, а ты... Ты сердце у меня взяла и жмешь его в ладонях все сильнее, и брызжет кровь в лицо тебе, ты весе-

лишься,— писал Мишкин,— а я... так и живу теперь — раненый, загнанный зверь, последний мамонт, вымирающий от Нелюбви твоей...

Сердце Мишкина билось неровно, он дышал тяжело и судорожно, как астматик. «Черт те что,— подумалось ему,— неуж-таки влюбился?» Лоб под седой челкой был мокрым от пота, левая рука заметно подрагивала. «Чувственности... надо добавить»,— растерянно подумалось ему, а правая рука открывала ящик стола, рыскала по ящику в поисках валидола.

Через пару минут, причмокивая валидолом, Мишкин вновь погнал карандаш по полю листа:

— Твой нелюбимый по уши влюблен, и до зари сосцы твои целует, и губы, и живот. Счастливая слеза в твоих глазах блестит, ты шепчешь что-то, не расслышу слов...— написал Мишкин и покраснел перед новой страницей...

— Как косноязычен я, убог умом и робостью пришиблен, и как душа болит, как беспокойно мне болеть тобой. Где б ни была, храни тебя Господь и милуй.

Мишкин поставил точку и замер, прислушиваясь к возникшему гулу. Это гудело его сердце.

«Ну нет, какой я к черту мамонт! — подумалось Мишкину.— Это время такое... пожилое. Раньше-то, вон когда — еще в античном мире, по рескрипту Сервия Туллия мужики считались молодыми аж до сорока пяти годков, во как! А мне сорок. Я не старый. Какой я старый? Я вон какой молодой»,— и он опять прислушался.

Сердце уже не гудело. Сердце барахталось скользкой лягухой, пытаюсь, как из лоханки, выпрыгнуть из груди.

— Ну-ну,— сказал себе Мишкин, и игриво добавил вслух:

— Скучновато пишем, дорогой!

Незнакомка тихо улыбалась.

ТАКОЙ ГОРЯЧИЙ МЕСЯЦ

10 д е к а б р я. ...Вдруг показалось вероятным, что будет самая настоящая семья — я, ты, мой сын Костя, и что все мы будем счастливы. Я чувствовала, что ты любишь меня, что счастлив только со мной и никто тебе больше не нужен. Все казалось простым и ясным: мы должны быть вместе. Потому не мыслила себе, как это целый день, два, три дня быть без тебя. А не видеть твоих сияющих глаз (ей-богу, они сияли!), не чувствовать твоей радости от встреч — это даже представить было невыносимо.

Я была счастлива. И никаких мыслей о том, что ты на кого-то смотришь влюбленно, а на меня — нет, потому что твоя любовь была сильнее, она не позволяла усомниться, не верить в тебя...

Ты прав, любовь из одного состояния и качества переходит в другое — это ладно, так, наверное, и должно быть. Но почему так болезненно для меня? Почему не ощущаю теперь ни того, старого твоего чувства, ни тем более нового, уже «перерожденного»? Почему твоя новая, мудрая любовь не приносит радости? Или в этом новом состоянии обязательны равнодушие, холодность и отсутствие ласкового слова? Я уже не заслуживаю тепла и ласки, так мне не-обходимых?

Хочу быть любимой, понимаешь? Это — если хочешь — пища для моей любви, для всей меня.

Видишь, мое чувство все еще находится в том самом глупом — для тебя! — состоянии, когда нужны и поцелуи, и ласковые слова, которых так давно не слышала, что даже тоска по ним.

Ты ссылаешься на «умную» литературу, которая учит не говорить много о любви. Это что, рецепт для всех? Так не бывает. Если один рецепт пользоваться для сотни больных, то обязательно ли выздоровление всех? Девяносто девять «больных» любовью, может, и вылечатся, а один — умрет...

Если ты захочешь уйти, считая, что с моим характером жить невозможно, то держать не буду. Значит, так тебе будет лучше.

13 декабря. Если сейчас не переломаю свой дурацкий характер, то не прощу себе — я потеряю тебя!

...Задала своим десятиклашкам сочинение на свободную тему. И знаешь, что написал тот самый Коряковский, которого ты почему-то недолюбливаешь? Он написал: «Если бы я вдруг оказался в Москве, то вышел бы на Красную площадь и во весь голос крикнул: «Я люблю Вас, Марина Сергеевна!» Я, конечно, вклеила ему «пару», а кое-что даже выписала из сочинения, вернешься из командировки — посмеемся вместе.

Мне сейчас очень трудно. Ты прав, я сама в этом виновата — мчусь, «закусив удила». И рискую всем, что имею. Помоги мне. Скажи, что я идиотка, и что без тебя умру, и я стану тихонько всхлипывать на твоём плече, и со всеми твоими словами буду соглашаться. Ведь я действительно не могу без тебя жить. Это не фраза, не громкие слова, а все правда. И если ты через неделю не станешь моим мужем, то я... Прости меня, глупую...

15 декабря. Я плыву против течения большой реки. Волны бьют меня, а я плыву, обессиленная, потерявшая надежду на спасение.

А ты — лодочник. Ты в презрительном молчании стоишь в лодке у берега и спокойно наблюдаешь, как я из последних сил пытаюсь выплыть и... навсегда скрываюсь под водой.

Ты не спас меня, лодочник. Теперь спасать надо тебя. Спасать от равнодушия и жестокости.

Воспоминание о том, как не захотел мне помочь, когда-нибудь в тебе всколыхнется, и будет больно, очень. И ничего не исправить...

20 декабря. Милый мой, ты бы только знал, как я скучаю! Даже не представляла, что подобное может быть. И, как ни странно, я счастлива. Вот думаю о тебе, а в душе все поет, все дрожит струной от радостного напряжения. Я счастлива, что нужна, что есть ты, что живу для тебя, что мы — это здорово!

Об этом же и немногие слова твоей телеграммы, не так ли?

21 декабря. Жду тебя. Как много доброго и хорошего у нас с тобой было! Пусть даже только для меня.

Не знаю, что могла дать тебе за этот маленький, такой горячий зимний месяц, но ты должен чувствовать многое из того, что я еще не сумела сказать.

Если я дорога тебе, если любишь меня — верь! Не унижай меня подозрениями. Ведь ты же умный, сильный, добрый, талантливый, любимый мною. Пойми это и верь.

Благодарна тебе за многое, родной мой! Ты появился в моей жизни, когда было до невозможности трудно, когда уже не верилось ни во что, а особенно в верность любви. Своей влюбленностью и нежностью ты вдохнул в меня силу и веру, саму жизнь. Я стала любимой и почувствовала это. Твоя любовь помогла и мне полюбить тебя.

Только беда вся в том, что моя любовь росла и крепла, требуя чистоты и нежности — много требуя! А твоя убывала ровно настолько, насколько росла моя. Вот ведь как бывает, хуже несправедливости и не придумаешь.

Милый, наше счастье зависит только от нас. А что же мы? Ведь было же время, и не так давно было, когда ты хотел нравиться мне, хотел завоевать, покорить. Почему же сейчас небрежен к нашим отношениям? Не веришь мне? Неправда. Ты уже не веришь себе. А ведь мы будем счастливы, когда оба уверуем в свои чувства. Я — уверена. А ты? Разве слова, сказанные мне раньше, уже устарели? Разве они — неправда? Разве можно дать человеку воз-

можность поверить, дать надежду на счастье, а потом сказать, что все не так, что это шутка, не думал, что говорил? Неужели такое возможно?

Разлюбил? За это не судят, не казнят. Не любил вообще? Это хуже — не надо говорить того, в чем не уверен. Ужас какой-то: найти любовь, радость жизни, поверить во все и всем, и — пустота... Вот почему говорю, что мне трудно будет без твоей любви.

24 декабря. Жду и верю. Знаешь, я, наверное, какая-то ненормальная — постоянно думаю о тебе. Нет, даже не так. Не то, чтобы думаю, а постоянно ощущаю твое присутствие. Что бы ни делала, подсознательно чувствую тебя рядом. И хожу гордая и счастливая.

27 декабря. Вот ты и приехал. И снова уехал... Если б только знал, что делается сейчас в моей душе! Полное смятение, никакой определенности и уверенности в чем бы то ни было. Если раньше ждала и надеялась, то теперь и этого не осталось. Больше так не могу! Могу лишь сделать вывод: ты рвешься не ко мне, а от меня, я надоела тебе, ты не любишь.

Нужно что-то делать, что-то решать... Будем же честными, скажи все как есть. Да значит — да. Нет — нет. За что мучаешь меня? Что будет дальше? Неопределенность теперь — выше моих сил...

Два дня — пока мы были вместе — я говорила и говорила о своей любви, о своих чувствах, о нашем совместном будущем. Что же ты? Слушал, а в душе смеялся надо мной? Даже это мне неизвестно. Что делается в твоей душе, чем болит твое сердце, чем занят твой мозг? Ничего не знаю...

Единственную осмысленную фразу услышала от тебя за эти два дня — о моем добром отношении к подростку Коряковскому. Ты что, ищешь повод обвинить меня и уйти со спокойной совестью? Не ищи, не надо. Скажи все прямо. Не изощрайся, я пойму. Переболит как-нибудь, а со временем и вовсе пройдет.

Если тебе хоть немного дорого мое отношение к тебе, то не надо это отношение убивать. Убивать холодно, расчетливо, методично. А не дорого — не жалея. Бей! Пожалуй, даже благодарна буду за такое убийство: похоронить скорей, и — дело с концом!

Хотела бы я знать, за что мне это все? За то, что хотела жить счастливо? За то, что поверила чедовеку и вручила ему и свою судьбу, и судьбу сына? За что ты так жесток и безжалостен? Я же не настолько сильна, чтобы все прошло легко и бесследно.

29 декабря. Считаю своим долгом написать тебе последнее письмо. Можешь его показывать всем, можешь говорить обо мне все, что хочешь. Мне больней уже не сделаешь.

Читай и думай. А задумавшись, будь честен и искренен хотя бы с самим собой. Не оправдывай себя, а суди.

Пишу потому, что верю еще в то хорошее, что должно в тебе остаться. Ведь плыл же ты когда-то по лютomu морю больной и голодный, была же у тебя большая мечта! Кто-то был по-настоящему дорог? Друг или любимая. Вспомни — когда и кого любил, с кем был искренен, к кому был щедр душой и готов был отдать самого себя. Было же у тебя что-то свое, самое святое! Этим я заклинаю тебя, памятью этой — суди себя судом совести!

Когда и кого ты предал первый раз?

И стал подлецом.

Когда и у кого ты занял первый раз и не отдал долг?

И стал паразитом.

Когда и кого ты обделил первый раз?

И стал жадиной. Да, ты жаден. Щедр только по отношению к себе.

Да что ты в конце концов! Оглянись же вокруг! Влюбись до потери разума, помоги кому-нибудь бескорыстно. И почему ты решил, что мир должен крутиться только вокруг твоей особы?!

Хочешь скажу, почему ты так поступил со мной? Хотел как всегда выйти сухим из воды. Хотел прикинуться обиженным и оскорбленным. Опять, мол, такому хорошему человеку не повезло, полюбил женщину, а она оказалась шлюхой.

Ох, нет-нет, ты таких выражений избегаешь. Конечно, хорошему человеку не пристало говорить такие плохие слова. Нет-нет, ты меня, конечно, не осуждаешь, желаешь только добра. Да, опять не повезло, и больше всех жалко самого себя, не так ли? Из-за распутной молодой бабы — ох, нет-нет, ни в коем случае и т. д. — страдает добрый и прекрасный молодой человек. И все его жалеют — а как же? А то, что баба, с которой делил постель и хлеб, будет всенародно измордована, так то ничего. Посмеемся в сторонке?

Я ведь спрашивала: «да» или «нет»? Но такой конец тебя не устраивал. Вдруг бы кто подумал, что — не дай бог! — это я бросила тебя, как бы людям в глаза-то смотреть?!

А совершить подлость — не совестно? Молчит совесть-то?

Сколько же ты предал до меня, и сколько еще предашь? И на сколько же ты становишься счастливей после очередной измены. И сколько же нужно предательств для полного счастья? И что ты скажешь в самом конце? Слезливое «простите»? А не окажется ли так, что прощать будет никому?

На таких, как ты, нужно вешать колокольчики. Чтоб все знали — идет мразь, и не марались бы зря.

Что касается моих чувств, то я не каюсь в содеянном. И если б все люди до единого с самого начала предсказали такую с тобой развязку, я бы не поверила и через все прошла бы сама.

Любила, как хотела и как могла. Всю себя отдала. Ничего не утаила. Пусть это будет тебе как плевок. Как пощечина.

И все равно до конца не верю, что все омертвело в твоём сердце. Пусть там шевельнется и оживет остаток доброты и душевной щедрости.

Пойми меня очень правильно, и все у тебя станет на свои места.

Если места не заняты.



ЕЛЕНА ВОЛКОВА

Родилась в 1963 году в Ставрополе, ныне Тольятти. После окончания института в 1985 году работала на 23 ГИЗ в ОГЭ, в комитете комсомола, с 1989 года — сотрудник редакции «Вологодский подшивник».

ГОРОД

Когда-то мама моя была просто Людой, папа — просто Витей, а город Тольятти, в котором они жили, — просто Ставрополем.

Город Ставрополь был маленький, мама была молодая и играла в народном театре в «Барабанщице». Она танцевала на столе в купальнике в одной из сцен, сводя с ума местных немногочисленных мужчин. Еще она играла в «Острове Афродиты», но по тогдашним — не то цензурным, не то наоборот — соображениям этот спектакль запретили, и режисселина Надежда Кирилловна решила замахнуться на Арбузова, вернее — на его «Таню».

Двадцатилетней маме дали роль умудренной женщины, к которой и уходит мятущийся Герман. Молодую Таню же играла, напротив, актриса в годах. В труппе шутили, что, мол, Герман — не дурак и уж, конечно, предпочел молодуху старой Тане. Драматургия Арбузова обретала на ставропольской сцене неожиданное звучание.

Папа тоже был хорош, тоже играл в театре и, конечно, не мог не жениться на маме, как настоящий мужчина.

Я родилась, навсегда разрушив мамины планы стать актрисой, и детство мое не было омрачено богемой!

Мама Люда стала Людмилой Александровной и однажды с удивлением заметила, что после двадцати девяти идет не двадцать десять, а тридцать. Папа стал Виктором Петровичем и писал кандидатскую, кромсал написанное,

склеивал и снова кромсал. Я сидела на полу, подбирала куски и из них склеивала свою «диссертацию».

Но вот город Ставрополь... Он внезапно стал носить имя итальянское — Тольятти, в честь небезызвестного Пальмиро; невзрачные с виду заводы вдруг обозначили его как «город большой химии», о чем и так можно было догадаться по запаху и цвету тумана утром. Но настоящее счастье привалило, конечно, со строительством АвтоВАЗа.

Надо еще заметить, что уже плескалось рукотворное Куйбышевское, оно же Жигулевское море (так и хочется сказать — пиво), заглотив в себя старый Ставрополь вместе с его никому не нужной историей.

Весной, когда воды было еще мало, мы ходили по дну, т. е. по бывшему городу, и я нашла одну копейку 1896 года. Мой сосед по парте коварно похитил ее, когда я училась в первом классе общеобразовательной школы № 17 имени Г. С. Титова.

— Отдай то, что взял, — велела учительница, когда я пожаловалась.

— А я не брал. Честно.

Зря он так. Учительница учила нас русскому языку и литературе, поэтому она знала, что сказать:

— Честный, жулик известный!

Секунду постой — карман пустой!

Коварный сосед по парте захихикал вместе с остальными, но копеечку не отдал. А этот урок я помню до сих пор.

Город Тольятти поражал воображение темпами своего роста. Буквально за несколько лет он дошел до того, что нас, учеников третьего класса общеобразовательной школы № 17 имени Г. С. Титова, срочно сняли с занятий и строем повели через дорогу в загс — чествовать 500-тысячного гражданина г. Тольятти, который оказался гражданкой, и заплакал, когда ему повязывали пионерский галстук. Речевку скомкали. Один из дядей спросил, всегда ли мы готовы к борьбе за дело коммунистической партии. Не дураки, мы гаркнули: «Всегда готовы!» и побежали на улицу, так как от уроков нас освободили.

Через несколько лет, когда я уже не была ученицей школы и так далее, я увидела на улице кортеж, а впереди — автобус с плакатом, поздравляющим всех желающих с рождением 600-тысячного тольяттинца.

А у меня появилась сестра, которую называли тетей Катей. Мы переехали в новую квартиру. Место было гиблое. Называлось в народе «третий поселок», дальше были поля. Но не прошло и нескольких лет, как «третий поселок»

оказался центром города, из наших окон видна была Центральная площадь, а слева разместилось «Центральное кафе» — в народе просто «ЦК».

Мы ездили отдыхать на Жигулевское море, оно же пиво, на берегу которого, в бывшей хрущевской даче, располагался Институт экологии Волжского бассейна. Но, несмотря на него, с нашим морем-пивом что-то делалось не то. Вода прогревалась и зеленела, и чем дальше, тем пуще. Мой папа-рыбак вспоминал щук, которых он ловил в иные годы, и тосковал.

Левобережный завод железобетонных изделий, настойчиво претворяя в жизнь жилищную программу, взрывал и взрывал один из жигулевских уступов. Ну, какие могут быть красоты, когда такая напряженка с квартирами. А в песни местных авторов, незаметно для них самих, вкрадывалась экологическая озабоченность:

«То ли это Волга в кольце Жигулей (?),
То ли обнимают ее Жигули... (?)»

Однако рос и процветал ВАЗ. Он выходил на внешний рынок, и все ждали вот-вот изобилия, ибо город, производящий автомобиль — не роскошь, а средство передвижения — вправе был рассчитывать... Как же?! Столько усилий! Столько народу, покидав там и сям что-то свое, приехало: выстроили город, родили следующее поколение, делают автомобиль, местами конкурентоспособный. А изобилия все нет!

Пошла полоса начинаний и починов — «В свободное время, четыре дня на объектах соцкультбыта»: день города с фейерверком... И тут как раз случилось побывать в Тольятти нашему самому высокому руководителю. Оценив обстановку, он сразу сказал что на такой город и один кинотеатр — нехорошо.

В это время я уже жила в Вологде, и все, знавшие, что я — урожденная тольяттинская, не скрывая снисхождения, спрашивали:

— Так это правда?

— Правда,— говорила я,— но не вся...

— Как же вы живете-то, с одним кинотеатром?

— Да так как-то все...

...Тетя Катя уже закончила школу, пошла работать в ясли, простыла и заболела.

«Как пошла в ясельки, болеть начала», — пошутила мама, которая 30 лет назад играла барабанщицу в народном театре города Ставрополя — был такой городок на берегу Волги.



Родился в 1934 году в Вологодском районе. Работал на 23 ГПЗ с 1971 по 1988 год машинистом мостового крана в сепараторном цехе. Заядлый охотник, автор великолепных охотничьих рассказов. Печатался в областных и многотиражных газетах.

ЖИРНЫЙ КРЯКАШ

Может ли быть на кочковой утке на два пальца жиру? Охотники в один голос ответят — нет. Оказывается, может. Сам лично видел, иначе бы не поверил.

Палатка нашей компании стояла на высоком берегу Глухой, что соединена Собачьим лазом с рекой Лежей. После вечерней зорьки ярко горел костер, и пахло супом из утиных потрошков. Залаяли собаки. К нашему костру подошел молодой парень. Поздоровавшись, попросил соли. Поинтересовался нашими успехами и сам, как бы невзначай, обронил: «А мне нынче повезло. Сбил крякаша, у которого оказалось на два пальца жиру».

— С поросенком не путаешь? — ехидно улыбаясь, спросил наш Володя.

— На поросенке бывает и в ладонь сала, а на моем крякаше два пальца только, — ответил парень.

Вовка распалялся, да и мы с Саней высказали сомнение. Парень, спокойно улыбаясь, стоял на своем.

— Спорим! — напирал на гостя Володька.

— На что? — нехотя поинтересовался парень.

— На твой ягдташ.

На левом боку парня красовался тисненый ягдташ со множеством ремешков с колечками.

— У тебя какой калибр ружья? — спросил парень.

— Шестнадцатый, — ответил Вова.

— Ложи три пачки патронов,— и парень снял ягдташ.

Патроны и ягдташ легли рядом на разостланный целлофан, где был уже нарезан хлеб и лежали ложки.

— Сейчас докажу,— уходя, бросил парень.

Вовка взял ягдташ и, хихикая, начал подгонять ремень под свой рост.

— Покаж-ко,— потянулся к нему Саня.

— Блюда мудрую поговорку про чужой каравай и рот,— хлопнул его по протянутой руке сияющий Вова.

А вскоре явился и парень с уткой, она была ошипана и опалена. Мы собрались в круг. Положил парень два утиных пальца к видневшемуся на гузке утки жирку. Жирку оказалось даже чуть побольше, чем два утиных пальца. Мы убедились — парень прав. Ведь не было сказано, чьими пальцами будет производиться замер. Вовка сел на землю, разинув рот.

Выигравший пари снял с его плеча ягдташ, сложил в него патроны и, пожелав нам удачной охоты и спокойной ночи, удалился.

— Что же мне-то теперь делать? Осталась одна пачка патронов, а впереди три зорьки,— вдруг опаматовался любитель народных мудростей.

Помочь ему мы ничем не могли: двенадцатый калибр у нас с Саней.

БЕРЛОГА

Эту историю рассказывал мне товарищ по речному флоту В. И. Левинский, сейчас он работает в кузнечно-прессовом цехе нашего завода.

На Новый год в доме должна быть елка. Елка так елка. Встал мой приятель на лыжи, взял топорик и отправился на канифольный завод в лес. Долго кружил по лесу, выбирал. А вот, кажется, и то, что надо: в сторонке, особнячком стоит невысокая пышная красавица.

Спешить было некуда. Огляделся по сторонам: что это? Из сугроба под соседней разлапистой елью шел легкий парок. «Что может парить в последних числах декабря в лесу?» — подумалось. «Берлога, медведь», — мелькнула догадка. Ноги делали свое дело: развернулись на сто восемьдесят градусов и понесли к поселку водников. На окраине поселка встретился знакомый охотник, по его же собственным рассказам, отчаянный зверовик. Поведал ему мой приятель о случившемся. Зверовик крутанулся на валенках, рысью взял с места, оглянулся и крикнул: «Сиди дома,

сейчас придем!». Долго ждать не пришлось. Вскоре в дом ввалились четверо вооруженных до зубов медвежатников:

— Пошли! За наводку рассчитаемся, не обидим.

Быстро скользили по накатанной лыжне. Вошли в лес. Проходя поляну, приглядели высокую нетолстую сушину. Двое подготовили жердь для подъема медведя, а двое других, в сторонке, о чем-то тихо переговариваются. Жердь готова, можно трогаться. Те двое, что переговаривались, вдруг заявляют: «Мы вовсе не зверовики, мы — утятники. Не прогневайтесь, дальше не пойдем. Подождем. На шкуру не претендуем, а освежевать добытого зверя и вынести поможем».

И остались. Дальше идут втроем. А вот и берлога. Приятель молча указал под елку, пропустил вперед медвежатников и предусмотрительно отъехал подальше. Охотники сошли с лыж, отоптали стрелковую линию. Все готово, можно поднимать.

— Давай, — сказал один другому.

— Почему я? Поднимай ты, я ведь лучше стреляю.

Некоторое время они еще препирались, кому поднимать зверя, наконец, кто стрелял лучше, сдался и, держа в правой руке жердь, а в левой ружье, двинулся к берлоге, бодря себя криком: «Давай его, давай!»

Только он всадил острие жерди в берлогу, оттуда пошел пар и запахло прелью. Приятель все понял — и давай бог ноги. Сзади слышались вопли медвежатников: «Стой, подлец! Глумиться?» Приятель же во все лопатки катил прочь от берлоги.

Выскочив на полянку, увидев мирно куривших под елкой утятников, подумал: «Утятники-то утятники, а шею намылить могут запросто» — и молча пролетел мимо. Утятники же растолковали это по-своему. И можете себе представить, как бежал приятель по накатанной лыжне, имея за плечами первый разряд по лыжам, а за спиной разъяренных медвежатников. Но лихими мужиками оказались и утятники. От места событий до деревни Баранково путь не близок, но увеличить разрыв более чем на двести метров приятелю так и не удалось.

НА ЗАЙЦА

В один зимний воскресный день компания деревенских охотников, с двумя гончими, гоняла зайца в ближнем от нашей деревни лесу. Собаки своими голосами указывали путь зайца, а охотники, разумеется, старались перехватить.

Зайчишка уже выбивался из сил, чуя смертоньку, — вспомнил, что поблизости деревня. Вспомнил и напрямик пошел в деревню. На что уж рассчитывал косой, ему одному известно. Подлетев к околице, увидел сеновал, в самом низу которого был вырезан узкий лаз для кошки. Заяц юркнул в сеновал и забился в угол на душистое сено. Вскоре послышался лай преследовавших его собак. Собаки, подбежав к сеновалу, попробовали влезть внутрь, но, увы, толстенные головы в лаз не проходили. Оглашая громким лаем тихую деревеньку, заметались псы возле сеновала, из подворотен дружно вторили им все деревенские дворняги. Сообразил ведь косой, что огромным гончим в сеновал не влезть, а вот об охотниках не подумал.

Любопытные выходили на улицу узнать, в чем дело. Подошли охотники. Любопытным было дано разъяснение, что в сеновале заяц. Для маленькой деревеньки это целое событие. Собралась толпа, но охотники отгоняли всех за огород.

Сеновал, в котором спрятался заяц, принадлежал моему деду. К деду был послан уполномоченный от охотников с требованием о выдаче зайца.

Большая дедова семья обедала, когда в избу ввалился уполномоченный.

— Хлеб да соль, — поприветствовал хозяев.

Получив приглашение к столу, отказался и торопливо стал излагать свои требования.

— Да присядь ты, Митрей, перекури. Успеешь, возьмешь своего зайца, — добродушно отозвался дед. — Вот пообедаю и отдам.

Митрей присел на порожек, у печки, но курить не стал. Видимо, не терпелось поскорее получить зайца. Дед же не спеша пообедал и стал одеваться. Зачем-то надел только что сшитую шубу на борах.

Пошли. Подойдя к сеновалу, дед попросил охотников убрать собак.

— До греха недалеко, порвут, окоянные, новую шубу.

Что такое сворка, охотники не знали и попросту потащили собак за загривки за сеновал.

— И ты бы, Митрей, не щеперился с ружьищем — люди рядом, — кивнул на зрителей дед.

Ружье тоже последовало за собаками, на противоположную от ворот сторону сеновала.

Дед открыл замок и исчез внутри сеновала. Вышел с зайцем в руках. Митрей протянул руки, готовясь принять добычу.



— Возьми,— хитро подмигнул дед. И зайчишка, мимо рук охотника, кубарем полетел в сугроб.

Опомнившись, горе-охотник, высоко выбрасывая ноги и падая, по глубокому снегу поскакал за сеновал.

Вслед ему, хохоча, кричал дед: «Скорей, Митюха, уйдет, уйдет!» А зайчишка, окрыленный верой в людскую добропорядочность, стрелой летел к ближнему лесу.

Пока охотники и собаки поняли в чем дело, заяц был таков. Собаки, правда, бросились в погоню, но без охотников они не опасны зайцу.

Охотники же и почти все деревенские жители, изощряясь в остротах, морально добивали Митюху.

ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

— На «Золотых песках» бывал?

— Нет.

— Собирайся, в пять утра заеду,— гудел в трубке голос моего старого приятеля Николая.

Спать не придется, спешно собираюсь на «Золотые пески».

Ранним утром привез меня приятель в верховья реки Вологды. Скошенный береговой луг терпко пахнет свежим высыхающим сеном. Множество дроздов снует по лугу, ловя кузнечиков. У самой воды узкой кромкой тянется песок чистый, мелкий, золотистого цвета. Зажатый в горсти, он высыпается до последней песчинки.

Разбиваем палатку, и каждый отправляется по своим делам: Николай со спинингом, а я — на противоположный берег, в лес, посмотреть грибов.

Гудит лес от разноголосого птичьего гама. Всех громче кричат молодые дроздята. В родительских гнездах они уже не умещаются, а крылышки еще слабы, чтобы пропитаться самостоятельно. Рассевшись по деревьям, громко требуют подавать завтрак. Ближайший от меня желторотый дрозденоч вдруг раскрыл клюв и затрепыхал крылышками. Подлетевший родитель подал ему огромного зеленого кузнечика.— Мгновение — и зеленый гусар вместе с саблей исчез в чреве желторотого. «Еще тащи»,— кричит дрозденоч вслед улетающему родителю.

Долго ходил я в поисках грибов. Возле болотца насобираю с десяток довольно крепких подберезовиков. Отлично, на «жареху» хватает. Подхожу к стоянке. Под треногой горит крохотный костерчик. Николай шаманит над котелком. В тени палатки лежат три крупных шуки. В котелке заки-



пает сироп из сахарного песка. В кипящий сироп Коля сыплет лепестки шиповника. На всю округу запахло розой.

— Вологодское розовое варенье не уступает болгарскому, — смеется приятель.

По-королевски отобедали ухой, печеной щукой, жареными грибами. А чай!!! Чай с вологодским розовым вареньем описанию не поддается. Чтобы понять — надо попробовать. Жарясь на золотом песке, начал дремать.

— Помнишь, наши отцы, вернувшись с фронта, пели: «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех»?

— Согласен, лучше всех, да порядки в ней хреновые.

И ТАК БЫВАЕТ

Долгожданный день открытия охоты наступил.

В пятницу вечером троим, с двумя молодыми собаками, добрались до лесной речки. Разбив лагерь, пили душистый смородинный чай. На душе было празднично, легко и весело.

С утренней зорькой отправились по речным заводям. Непуганая утка подпускает близко. Добыли пяток крякашей и двух чирков. Решили поискать боровую дичь. Я взял обеих собак и пошел на моховое болото, а ребята отправились вверх, по впадающему в речку ручью.

Под вечер собрались у костра. Ребята добыли трех рябчиков, стали готовить ужин. В августовском лесу ужин можно приготовить из нескольких блюд и на любой вкус. Тут тебе и ягоды, и грибы, а у охотников — еще и дичь.

Хлопоча вокруг костра, напарники весело смеялись.

Я недоумевал.

— Над чем смеетесь — расскажите?

— За ужином расскажу, — пообещал Лева. Не спеша ужинали. Лева рассказывал...

— Только ты ушел, и мы разошлись. Тихонько иду, вдруг справа свистнул рябчик. Я ему ответил и затаился. Немного погодя рябчик вновь засвистел. Я сделал несколько шагов по направлению к нему и отзываюсь самочкой. Он тут же ответил, но хлопков крыльев не слышно. Значит, бежит землей... Прислушиваясь и отзываясь, я тихонько крался ему навстречу. Впереди небольшая полянка, а за ней в ельнике отозвался рябчик. Прячусь за ствол толстой ели и тихонько в рукав отзываюсь. Вот-вот нахохлившийся петушок, мелко семеня ножками, выскочит на полянку. Внимательно смотрю, вижу — с противоположной стороны из ельника на меня смотрит... — и Лева умолкает.

— Да не тяни, говори — кто смотрел, — тороплю Леву.

— Вот он, — и Лева, смеясь, показывает на нашего приятеля.

Глядя на ребят, я долго смеялся, а они еще подливали масла в огонь, рассказывая о своих переживаниях.

Стало смеркаться.

— Я принес чаги, давай заварим чаек, — предложил Лева. Воды не было. Взяв котелок, я пошел к ручью. Собаки увязались за мной. Набрав котелок, я возвращался к костру. Впереди, в нескольких шагах, бежали собаки. Вот они поравнялись с поворотом тропинки, отсюда уже виден костер. Вдруг из кустов на собак метнулся крупный серый зверь. Завизжав, они кинулись мне в ноги и сбили. Котелок при падении сплюснулся, и холодная родниковая вода залила мне весь бок. Ружье и даже нож остались у костра. Скотившись с тропинки, я вскочил на ноги и бросился к ближайшей ели. И вдруг за спиной услышал сатанинский Левушкин хохот. Он стоял на тропе на четвереньках, в вывороченной меховой куртке, в вечерних сумерках похожий на крупного зверя...

Мой приятель Лев Николаевич до сих пор с удовольствием вспоминает эту историю, заканчивая ее так: «Куда ты лезешь? Елка-то ведь уже кончилась!»

ГУСИ

В последних числах апреля возвращались с соседом со второй смены. С автобуса сошли у кинотеатра, до Заречья пошли пешком. Тихая теплая весенняя ночь, пахнувшая клейкими листьями распускающегося тополя, омытый апрельскими грозами засыпающий город располагали к хорошему настроению. Шли не спеша, думая каждый о своем. Изредка проходили автобусы с затемненными салонами.

Вдруг сзади нас послышались странные звуки. Прислушались, поняли: где-то летят гуси. Голоса все нарастали и нарастали. И вот на фоне чистого весеннего неба показался огромный, низко идущий косяк гусей. Чтобы лучше видеть гусей, мы выскочили на проезжую часть и не заметили, как позади остановился автобус.

— В чем дело, мужики? — послышался голос шофера. Хлопнула дверца, и водитель встал рядом с нами, задрал голову, смотрел на косяк гусей. А гуси, весело гогоча, шли и шли над уснувшей Вологдой, держа курс прямо на Полярную звезду. Косяк растворился в ночном небе, а веселые голоса продолжали звучать, бередя душу.

Первым заговорил водитель автобуса:

— Как думаете, мужики, о чем они поют?

— Почему ты считаешь, что это песня? Вероятно, это строевая переключка, чтоб никто не отстал,— ответил сосед.

— Плохо, что мы не знаем птичьего языка,— с сожалением сказал водитель и, немного помолчав, уверенно добавил:

— Это песня. Да, песня о родине, о широкой тундре. С такой торжественностью в голосе поются только песни о родине. Да и понятно. Родину не выбирают, она дается один раз в жизни и навсегда.

МОЙ ГЛУХАРЬ

Отрыдали, прощаясь с родиной, журавлиные стаи. Прочитая, уходили последние гусиные клинья. Опустели сжатые поля. Леса, скинув осенний наряд, уныло ожидали зиму. Только и радовали глаз зеленеющие озимые поля. Короткие хмурые дни и сплошные неудачи доводили меня до отчаяния: единственного, положенного за сезон глухаря, не удавалось добыть, хотя и дрозг, и мок все выходные дни в лесу с лайками. А сроки, меж тем, неумолимо сокращались.

Звоню своему приятелю, лесничему: «Как дороги? Можно ли до тебя добраться?»

— Приезжай, встречу на автобусной остановке,— отвечает.

Встретил на мотоцикле. К вечернему чаю прибыли вовремя. Выслушав рассказ о моих неудачах, Павлович согласился помочь, но с условием:

— Собак возьмем только твоих, на взлете не стрелять, стреляешь ты неважно и можешь сделать подранка. Брать только из-под собаки, сидячего и наверняка.

Еще затемно направились к Обуховскому болоту. Ночью выпал легкий снежок, прикрыв опавшую листву, заглушал шорохи. Собак вели на поводке, чтоб лишний раз не отклоняться. Местность оказалась и не на болоте вовсе, а огромным бугром с кочкарником, покрытым богатым урожаем брусники. Кой-где возвышались большие разлапистые сосны.

Спущенные с поводка собаки на быстром галопе начали поиск.

— Угол этот дальний, бруснику никто не собирал, вот и лакомится здесь глухарь сладкой ягодой,— пояснил лесничий.

И тут послышался тяжелый взлет глухаря. Секунды тянутся часами.

— Ушел ведь, черт,— шепчу Павловичу.

— Уверен, сядет,— слышу ответный шепот.

Вскоре послышался дружный лай. Мы стали подбираться на голоса собак. И вот видим глухаря, сидящего на боковом толстом суку сосны. Расстояние приличное, да и местность хорошо просматривается — не подойти. Павлович знаками показывает, что надо ползти. Сбрасываю рюкзак, фуфайку, шапку и, извиваясь ужом, ползу меж кочек к заветной добыче. От волнения и напряжения пот льет градом. Глухарь все ближе и ближе. На пути вижу кочку в полкопны. Вот доползу до нее и можно стрелять — расстояние нормальное, да и укрытие хорошее. А вот и она, желанная. Выглядываю. Глухарь, вытянув шею, трясет бородой: на чем свет стоит ругает моих собак. Отчетливо слышу его сердитое шелканье клювом. Испортили трапезу, как тут не ругаться.

Руки мои от волнения трясутся, глаза заливаает пот. Чует сердце, смажу. Надо успокоиться, да и стволы проверить, не забило ли снегом. Лежа на боку, открываю ружье. В стволах снег. Делаю глубокий вдох и, что есть силы, дую в верхний ствол. И тут случилась беда: ствол басовито загудел, взвизгнули собаки... и - тишина. Ком горькой обиды на себя застрял в горле. Подбежал Павлович:

— Ну ты и молодец! Вот это по-нашему, по лесному: не все бей, что видишь. Природу, брат, и побережь надо. Давай скорее костер разводить, мокрый ты весь.

Вскоре запыхал яркий костер. Я сушился, а Павлович хлопотал возле закипающего чайника. От природы человек немногословный, он с нескрываемым восхищением хвалил работу моих собак и мое, как он выразился, благородство. И тут меня осенило: по душевной простоте принял мою грубейшую оплошность за благородство. Вероятно, я разучился краснеть, а может быть, отсвет костра помог, но Павлович ничего не заметил. Мне же хотелось быть хорошим и я не стал опровергать его христианские мысли...

Прошел год. На октябрьские праздники организовали мы заводским охотколлективом выезд в свои приписные угодья. Автобус ждем возле транспортной проходной. Охотники, собравшись в кучу, курят, привязанные собаки лежат. Вдруг собаки все разом вскочили и, задржав головы, залаяли. Кто-то крикнул: «Смотрите, глухарь!» Воистину, на праздничном транспаранте сидел глухарь.

Откуда он взялся, никто не видел. А глухарь, вытянув шею, рассматривал охотников и собак. При этом получались кивки и поклоны. Своеобразно поприветствовав нас,

взлетел и исчез за корпусами завода. Охотники со смехом и шутками обсуждали это событие. Подошел автобус.

Мы с Саней Виноградовым сели на переднее сиденье.

— Зачем он в город прилетал, как ты думаешь?

— Так это ж мой глухарь прилетал поздравить меня с праздником. Помнишь, я тебе о нем рассказывал? — ответил я на полном серьезе.

Саня задергал носом, запринохивался. Ничего не унюхав, хихикнул коротко, покачав головой: «Чокнулся зам. Его глухарь. Прилетел поздравить — скажет тоже...»

Он еще что-то говорил, но я уже не слушал. Смотрел на пробегавшую мимо обочину дороги и ясно видел ранний весенний рассвет, огромную сосну и на ее вершине, задрав голову, весь розовый в лучах восходящего солнца поет весеннюю песню любви мой глухарь.

ПОКА ПО НОЛЯМ

Года четыре тому назад в нашем дворе появился приемный зять. Приемыш сразу обратил на себя внимание одной, невиданной доселе у нас во дворе странностью. Он ни с кем не здоровался и не разговаривал. С ним пытались здороваться, делали замечания, но все тщетно.

— Пень — пнем, что с него возьмешь! — бросил кто-то.

Прозвище прикипело. И вот недавно, возвращаясь с работы, я увидел тещу Пня. Она сидела на скамейке возле песочницы. Внучка лепила песочные лепешки и весело щебетала. Неподалеку, покуривая, под грибком восседал сам Пень. Я всплеснул руками:

— Счастье-то какое! Девочка-то говорит!..

— Почему бы она не должна говорить? — гордо и заносчиво спросила пнева теща.

— Да нет, бывает, конечно, что и у глухонемых в семьях дети говорят, — промямлил я.

— Кто это у нас в семье глухонемой, по-твоему? — хохотнула теща.

— Да зять у вас глухонемой, — сказал я громко, чтоб услышал Пень.

— Какой дурак тебе это сказал? — катая желваки на квадратных челюстях, приступила к допросу теща. Баба она лихая и мощная, я мог запросто заполучить от нее взбучку. И тут во дворе появился мой веселенький сосед, работник шарикового цеха Гена Денисов.

— Вот он сказал, — показал я пальцем на соседа.

— Ну, не знаю, что с ним сейчас сделаю,— полыхая жаром, как домна, выдавила из себя пнева теща. Я, разумеется, не стал ждать, когда она придумает, что сделать с соседом, и незаметно шмыгнул в подъезд.

Прошло время, и шутка вроде бы как забылась. И вот на днях поставил я варить кашу собакам. Слежу, чтоб не залить только что вычищенную плиту. Заверещал звонок, потом в дверь нетерпеливо постучали.

«Что-то стряслось никак»,— подумал я. Открываю, стоит Гена Денисов с газетой в руках.

— Что ты звонишь, как на пожар? Внука вон переполошил!

— Извини, такая сенсация в «Комсомолке», глазам своим не верю,— торопливо говорит сосед. Тут на кухне зашипело и запахло горелым. Выключил газ, снял кашу и принялся мыть залитую плиту.

— Ну ладно, я пошел. Не думал, что тебя кроме залитой плиты уже ничего не интересует,— проговорил сосед.

— Не ехидничай, читай вслух. Видишь, я занят.

Сосед кашлянул и начал:

— 22 мая текущего года недалеко от поселка Маега, что в Присухонском охотхозяйстве Вологодской области, егерь Сафонов обнаружил труп медведя. Место, где лежал труп, свидетельствовало о жестокой схватке медведя с каким-то не менее сильным зверем. В тридцати метрах егерем был найден удав длиной около пяти с половиной метра. Удав был мертв. Раны нанесены ему были явно медвежьими лапами. На место загадочной трагедии прибыли сотрудники Ленинградского НИИ. Надеемся, что в скором времени тайна будет разгадана...

— Удав медведя задушил? Откуда он взялся-то? — удивился я.

— Ну, этого в газете нет. Узнай поподробней в охотобществе,— уходя бросил сосед.

Эта любопытная информация очень меня взволновала. Утром звоню своему другу егерю Пискунову, прошу объяснить подробности.

— Ничего не слышал подобного, но одно скажу вполне определенно, что такого егеря в областном охотобществе нет,— слышу ответ.— В «Комсомолке», говоришь? Перезвони через часок,— и егерь повесил трубку.

Я позвонил. Трубку подняли сразу. Слышу заразительный смех нескольких человек и голос егеря:

— Чем ты там думаешь, распространяя по городу такие глупые слухи? Как может удав попасть к нам в Вологодскую область?..

— Ну, я мыслю, аэродром, самолеты близко,— тихо и невнятно пытаюсь объяснить.— Может, из зоопарка.

— Из какого зоопарка? Ну что ты несешь, мыслитель!

Надежда всегда уходит последней. И я еще надеялся, беря вечером из рук соседа газету. Под рубрикой «По Союзу» на газетную полосу был наклеен рукописный текст, дословно приведенный соседом выше. Возмущаться не было сил.

— Не принимай, брат, так близко к сердцу. Пока ведь мы с тобой только по полям,— хохотал вслед мне сосед.



РУФЬ РАФАЛОВИЧ

Окончила Вологодский педагогический институт. Работает библиотекарем. С 1990 года — активный член заводского литобъединения. Автор стихов и иронической прозы.

О ВРЕМЕНАХ ГОДА

Карл Иванович Шустерлинг вышел на балкон. Пахло цветами. «Вот и лето пришло», — подумал Карл Иванович.

Балконом выше Карла Ивановича жила тетя Мотя. Она была очень злая и очень жадная. В этот день у тети Моти по графику была ссора с мужем. А муж случайно подсмотрел график в ящике стола и срочно выехал в командировку. Тут тетя Мотя еще сильнее разозлилась. Хотя она еще с утра была злая, потому что всегда разжигала себя заранее.

Она подошла к тумбочке. На тумбочке стояли коробочки с французскими духами, которые тете Моте каждый месяц дарил муж. Он думал, что она от этого добрее станет. А тетя Мотя добрее не становилась. Она и сама духами не душилась, и другим не давала.

Тетя Мотя становилась все злее. «Вот возьму и покидаю все духи с балкона», — подумала она. Тетя Мотя долго думала, покидать или не покидать. «Покидать, так жалко, а не покидать, так соседи не увидят, какая я принципиальная».

Тетя Мотя думала, думала... А потом взяла с тумбочки пузырек с отечественным «Жасмином» (там на дне что-то еще плескалось) и шарахнула его с балкона. Пузырек разбился, вокруг запахло цветами.

Вот почему Карл Иванович Шустерлинг подумал, что наступило лето. А на самом деле был январь.

Лирическая зарисовка

Торговые ряды были длинные, они тянулись и извивались. Тетя Мотя шла по рынку, и толпа перед ней расступалась. Жарко светило солнце.

Позади тети Моти плелся обливающийся потом муж с пустой корзиной в руках. Корзина была очень тяжелая, из цельнометаллических прутьев, но зато досталась тете Моте почти даром. Этой корзиной запустила в нее продавщица одного универсама и потом долго вопила, видя, как тетя Мотя уходит, унося на плечах свой трофей.

Прошли уже добрую половину пути, но корзина все еще была пустой. Около каждого торговца тетя Мотя останавливалась, придирчиво осматривала товар и все пробовала, будь то хоть абрикосы, хоть лук. Но покупать ничего не покупала: все казалось ей очень дорого. От беспросветной усталости и безнадежности муж взбунтовался. «Мотенька, может, купим чего-нибудь», — робко сказал он. Одного взгляда обернувшейся тети Моти было достаточно, чтобы подавить восстание в зародыше.

По рядам, между тем, прошел слух, что тетя Мотя не просто покупательница, а инкогнито с санэпидстанции. То, что она ничего не покупала, подтверждало этот слух, потому что продавцы подсовывали тете Моте только отборный товар. Арбузник безропотно разрезал пополам огромный арбуз, четверть которого тетя Мотя съела на пробу.

Всему на свете бывает конец. У выхода торговля черешней. Вообще-то тете Моте уже ничего не хотелось, но порядок есть порядок. Вытащив из ящика полную горсть черешни, она задумчиво съела ягоды, поплевав косточки на землю. После этого тетя Мотя обтерла руки носовиком и вновь обернулась. «Пошли отсюда! — скомандовала она мужу. — Все они жулики!»

ПРИЗНАНИЕ

После того, как она Карла Ивановича Шустерлинга перестала грязной водой обливать, жизнь пошла совсем скучная. Муж? Ну, что муж! Как ты его не обливай, как ни обругивай, а все надоест изо дня в день одно и то же. К соседям ругаться пойдешь — дверь перед носом захлопывают, а кому интересно ругаться, если тебя никто не слушает?

И надумала тетя Мотя работать пойти. Потому что с работы, как тебя ни ругают, раньше, чем положено, все равно не уйдешь.

Так как детей тетя Мотя не любила, то решила пойти в школу учителем. Но в учителя ее не взяли. «Строгость нам, конечно, нужна, но у Вас, извините, образование не то». Взяли тетю Мотю завхозом.

На другой день тетя Мотя на троллейбусе на базу поехала. Чтобы краски для полов купить. Потому что последней комиссии из роно цвет полов не понравился: «Какой-то темный он у вас, совершенно моменту не соответствует...» На базе кладовщица скучно сказала, что краски нет, не было и не будет, и вообще, если каждый дурак будет посреди зимы полы красить... Тут кладовщица замолчала. От неожиданности. И больше ей уже ни слова вымолвить не удалось, потому что тут тетя Мотя заговорила.

Обратно тетя Мотя на грузовике приехала, на котором были и краски дефицитных расцветок, и белила, и доски, и гвозди, и стекло, и даже кровельное железо, которое школа пять лет выбить не могла, и поэтому в верхнем этаже осенью и весной дети под зонтиками занимались.

Больше тетя Мотя сама никуда не ездила. Снимет трубку и только скажет: «Помидорова говорит...» — как начальник по городскому снабжению в струнку вытягивается, а посетители почтительно смолкают. Потому что они думают, что начальнику из министерства звонят.

Тетю Мотю все уважают. Директор уважает. Потому что школа теперь сверху донизу отремонтирована, и все в ней блестит. А это значит, что это лучшая школа. И это значит, что он хороший директор. Любая комиссия это признает. Дети тетю Мотю тоже уважают. Потому что, когда, скажем, контрольная по физике, тетя Мотя может зайти и сказать: «Хватит ерундой заниматься! Штaketник красить, живо!». А физик только рот откроет, а потом закроет. И сам с детьми забор красить отправится. Потому что иначе не получит он ни новой эбонитовой палки, ни портрета Фарадея. А если у вас нет портрета Фарадея, то всем ясно, что вы плохой учитель. «Как же Вы можете детей учить, когда у Вас нет наглядных пособий?!». Зато, если у всех школ портреты Фарадея, размноженные типографским способом, а у вас акварельный в пастельных тонах, то каждому ясно, что Вы хороший учитель, более того, Вы — учитель-новатор, на которого все должны равняться. А кто вам может достать портрет Фарадея акварелью в пастельных тонах? То-то! Поэтому учителя тетю Мотю тоже уважают.

И соседи тетю Мотю уважают. Потому что, если она захочет, ихнего ребенка запросто переведут из ближней и лучшей школы города в соседнюю, за девять кварталов, которая к тому же лучшей не считается.

Вот что значит найти призвание! Все тебя уважают, и всем хорошо. Даже мужу. Потому что теперь тетя Мотя в школе так наругается, что дома отдыхает. Ну разве что скажет: «Я тебе, чувырла, когда еще говорила, чтоб не смел ходить на цыпочках, от этого носки на пальцах протираются». Но это какая же ругань?

ПУТЬ К СЛАВЕ, ИЛИ КТО ХОЧЕТ, ТОТ ДОБЬЕТСЯ

Юрочка Рафиков был поэт. Он писал стихи. На разные темы: о любви и дружбе, о природе и экологии, о стройках и перестройке, о Пушкине и Лермонтове. Стихи были очень плохие. Даже Юрочкины знакомые слушать их не любили. Завидев Юрочку, они спешили перейти на другую сторону улицы, чтобы Юрочка не успел их окликнуть.

Юрочка ждал славы, но слава не приходила. Он неустанно творил день за днем, но пути к сердцу читателя не находил. Каждый день Юрочка аккуратно рассылал свои стихи по редакциям и каждый день получал отовсюду отрицательные ответы.

Однако Юрочка не унывал. Однажды, получив очередной отказ, он решил, что больше свои стихи посылать никуда не будет. «Не пускают в литературу с переднего крыльца — влезем в окно». Юрочка устроился грузчиком на книжную базу, что дало ему возможность приобретать пачками по госцене Цветаеву, Мандельштама, Пастернака и других дефицитных авторов. В каждый экземпляр он аккуратнейшим образом клеивал подборку своих стихов, перепечатанных на машинке, после чего продавал книгу на барахолке, но уже по цене значительно выше номинала.

Деньги пришли сразу, со славой пришлось подождать. Сначала покупатели здорово чертыхались, но потом оценили всю прелесть своей покупки. После чтения Юрочкиной дребедени как-то особенно волновали душу строчки истинной поэзии. Один книголюб выражался еще образнее: «Выкупавшись в помоях, хочется нырнуть с головой в чистую речку». Поэтому вскоре у Юрочки появились постоянные читатели-покупатели.

Однако истинная слава пришла к Юрочке, увы, только через двадцать лет, когда известнейший за рубежом биб-

лиофил и собиратель книжных редкостей миллионер мистер Олби Вандербрюккен-средний случайно приобрел у парижского букиниста книжечку Тарковского с Юрочкиной вклейкой. Так как русского языка мистер Вандербрюккен не знал, его заинтересовала вклейка, и он решил перевести содержание книги. Фирма, к которой он обратился за переводом, выполнила свое дело добросовестно. В переводе Юрочкины стихи заметно похорошели (со стихами Тарковского, между прочим, случилось обратное) и очень понравились Вандербрюккену. Когда ему вновь попалась книжечка со знакомой вклейкой, он вцепился в нее и, не торгуясь, заплатил вдвое больше, чем рассчитывал получить с него букинист.

Прослышав об этом, все прочие букинисты начали рьяно скупать книги с подобными вклейками, что, естественно, подняло ажиотаж и цены. Мистеру Вандербрюккену приходилось платить за них все дороже. Свой последний, пятьдесят седьмой экземпляр, он приобрел на аукционе «Сотби» по цене древнегреческой камеи. После этого мистер Вандербрюккен решил остановиться. Но увлечению своему не изменил. Все собранные им Юрочкины стихи он издал роскошно ин-кварти в пятидесяти экземплярах с параллельным переводом.

Десять экземпляров он оставил себе, десять подарил своим друзьям, а тридцать остальных отправил в дар крупнейшим библиотекам мира. Таким вот образом книга Юрия Рафикова и оказалась в Ленинской библиотеке в отделе редких изданий. Советский человек всегда своего добьется.

ЖЕНЩИНА С НАРЦИССОМ

Женщина, с распущенными волосами и обнаженными плечами, в фиолетовом платье и с желтым нарциссом в руке, улыбалась из рамы печальными глазами.

«Неужели Фетисов?» — изумлялись знатоки. Непросвещенная публика просто подходила и смотрела. И возвращалась к картине вновь, обойдя зал.

Было чему удивляться. Хотя в газетах Фетисову всегда была забронирована пара хвалебных строк, люди обычно проходили мимо запечатленных им на холсте передовиков народных строек.

Картину приобрел городской музей. Ей предстояло висеть в светлом зале на радость людям. Но в последний день на выставку случайно забрел почетный ветеран и пенсионер

Иван Сидорович Кузьмин. Он долго пялился на картину, хмыкал, осматривал ее справа и слева, наконец глянул в упор на цветок, ахнул и побежал домой. И написал, куда следует. О происках международного сионизма «в лице художника Фетисова, который написал якобы безыдейную, но порочную картину, которая проповедует идею разврата и пропаганду сионизма, поскольку так называемая женщина, которая держит так называемый цветок, держит на самом деле сионистскую звезду, замаскированную под цветок».

Фетисов был удивлен и даже польщен, когда его пригласили в одно идеологическое учреждение для беседы. Она была непродолжительна. Минут десять хвалили его прежние картины, а потом спросили, как бы вскользь, что за женщина изображена им на последней.

— Это моя жена, Ирина Семеновна,— с гордостью и удовольствием признался Фетисов.

— Семеновна? А как, простите, Вашего тестя полностью зовут?

— Семен Иванович Липкин,— ответил ничего не подозревающий Фетисов.

Собеседники как-то понимающе переглянулись.

— Он, что же,— еврей?

— Почему еврей? — удивился Фетисов.

— Фамилия еврейская.

— Да откуда же еврейская,— взмолился Фетисов,— русский он, русский! И жена у него тоже русская. Он ветеран войны. Родом из Тульской области, из деревни Липкино. Там у всех фамилия такая.

Но собеседники смотрели недоверчиво. Один спросил:

— Зачем же вы своей супруге желтую звезду пририсовали?

— Какую звезду? — ужаснулся Фетисов.— Это цветок. Нарцисс!

— Почему же он желтый? Нарциссы белые.

— Желтые тоже бывают,— оправдывался Фетисов,— желтый с фиолетовым — такой контраст,— находка для художника...

— А почему у него шесть концов?

Выйдя из учреждения, Фетисов отправился в ботанический сад. Чтобы получить справку о том, что у нарциссов всегда шесть лепестков, поскольку принадлежат они к семейству амариллисовых, и о том, что среди прочих сортов имеются сорта желтого цвета. На другой день Фетисов

поехал к тестю и долго допрашивал его насчет родни и предков по обеим линиям...

Во избежание всяких инсинуаций «Женщина с нарциссом» была вынесена в запасник и скрыта подальше от глаз людских. Фетисов пишет новую вещь: полотно называется «Заседание совета трудового коллектива». Но приходится часто отвлекаться. Архив Тульской области сильно пострадал во время войны, поэтому составление точной родословной жены требует многих дополнительных изысканий. Однако скоро у него будет больше времени для работы. Ирина Семеновна подала на развод и уехала к родителям.



ГЛЕБ СОПИН

Родился в 1971 году в Перми. В Вологду приехал с родителями. Работал на 23 ГПЗ в 1987—1988 годах в АТЦ и шлифовально-сборочном цехе № 6. Трагически погиб в рядах Вооруженных сил в 1990 году, оставив после себя много рукописных произведений и рисунков.

ГЛУХОЙ ЛЕС И СОЛОВЕЙ

Сказка

Я расскажу вам историю, которую принесла мне на хвосте одна знакомая сорока...

Это было в те давние времена, когда птицы не умели петь, зато все звери могли говорить. Жил один Соловей. Жил он в Большом Лесу, и был этот Соловей мечтателем. Ну не виноват же он, что таким родился!

Но друзья не понимали его и смеялись, когда он, сидя на берегу Лесной Реки, мог часами слушать журчание воды. Очень смешило друзей и то, что, увидев букашку, он (в отличие от других птиц) не сразу съедал ее, а смотрел, как она ползет, переваливаясь с травинки на травинку, шевелит усиками; потирает то одну, то другую лапку. И бывало, букашка уползала от него и Соловей оставался голодным. Вот так он и жил.

Где бы он ни проходил, все лесные обитатели, вплоть до червяков (нет, какова наглость!), издевались над ним. «Эй, Соловей! О чем ты все время мечтаешь?» — пищал тоненький голосок из-под коры. «Наверное, о букашках, которые будут терпеливо ждать, пока он промечтается, чтобы дать себя съесть!» — отвечал голос из листьев. «Ха-ха-ха!» — заливались оба голоса.

Соловей, очнувшись, вздрагивал и натывался на дерево. Тут уж хохот несся со всех сторон. Бедный Соловей бежал, а ему вдогонку несло: «Ему голову открути — он не заметит! Ха-ха-ха!» И чтобы избежать насмешек, наш Соловей перебрался жить в Глухой Лес, находившийся в самом дальнем краю Большого Леса...

Однажды, сидя на своей ветке (благо ему никто не помешал), он промечтал день, ночь, а затем еще некоторое время, наслушавшись шороха листьев, сонных всплесков воды в реке... Он вдруг понял, зачем ему нужна жизнь. «Нельзя жить только для себя! — подумал он. — Если я слышу музыку леса, то я не имею права один наслаждаться ею. Она принадлежит всем обитателям Большого Леса! И моя задача — передать эту музыку более простым и понятным языком».

Он попробовал стучать по дереву клювом, как дятел. Не то. Пробовал шлепать по воде палкой. Вообще никуда не годится. И вдруг ему пришла в голову идея (он ведь привык мечтать!) — а что если попробовать выразить чувства, скопившиеся в нем, голосом?

И он запел. Сперва это были какие-то хрипы и пiski, но постепенно голос становился чище. «Нет, такое пение не пойдет. Надо попробовать еще раз...»

Прошло время. Может, месяц. Может, год. Скакал как-то Заяц мимо Глухого Леса. Вернее, не скакал, а удирали — от Волка. Волк за какие-то грешки собирился его съесть, а Заяц, по правде говоря, не очень-то этого хотел... Так вот. Скачет Заяц, и вдруг... Он забыл про все свои заячьи заботы. Вдруг он услышал Музыку. Чей-то голос лился и, переливаясь, сбегал по веткам деревьев, капал, расходился голубоватыми волнами по поляне. И деревья тонули в этих волнах. И сам он тонул в них. Захлебывался...

Заяц увидел, что поляна исчезла, что стоит он на вершине огромного дерева — такого огромного, что с него можно дотянуться до звезд, и смотрит вниз. А там — его знакомый Лес. Вон видно Лесную Речку, вон Поваленная Сосна, та самая, возле которой его в прошлом году чуть не съела Лиса, а там... что это? Да это же Глухой Лес! Теперь он почему-то светится, прозрачные деревья тихо позванивают, а на поляне посреди Глухого Леса Заяц увидел... себя. Да! Тут он очнулся.

Рядом, в десяти шагах, сидел Волк. Он не смотрел ни на Зайца, ни на поляну вокруг себя — он смотрел в небо. На секунду он глянул на Зайца большими грустными глазами и отвернулся. Встал, побрел к краю поляны, еле переставляя ноги, и исчез за деревьями.

Заяц огляделся: кто же это так пел? Разве может земное существо так петь? И тут он увидел Соловья: «Этоты?» Соловей кивнул.

Вскоре весь Лес знал, что Соловей-мечтатель из Глухого Леса умеет прекрасно петь. Слушать его сходились не только обитатели Большого Леса, но и жители далекого Дальнего Леса. Теперь уже никто не дразнил его. Куда там! Однажды проходя, Соловей услышал: «Вот он идет! Я всегда чувствовал, что он станет Великим Соловьем!» — пискнул голосок из-под коры. «Да. Я тоже это чувствовал!» — отвечал грубый голос из листьев.

А Соловей пел. И звери, затаив дыхание, слушали его. В такие моменты наступало Великое перемирие. Волки не ели Зайцев, Ястребы не нападали на мелкую живность. Звери слушали. Они летали вместе с Соловьем к звездам, проносились над своим Лесом, парили над реками, озерами, оврагами, полянами...

Случилось так, что слух о Соловье дошел до самого Грифа, короля птиц. Послушав Соловья, он подумал: «Хорошо поет! Но опасно. Все птицы и звери смотрят на него, как на божество, как на своего короля. Но ведь король-то я! А в стране не могут быть два короля. Во избежание неразберихи одного короля надо убрать». И приняв решение, Гриф подозвал к себе двух Ястребов.

В тот день Соловей пел особенно хорошо. Он пел новую, только что сочиненную песню. Слушая ее, Звери начинали понимать, что они не просто какие-то животные — они Звери. А раз они Звери, то значит, и жить они должны иначе — и им захотелось другой жизни: новой, совсем новой... И вдруг с неба упали два Ястреба, схватили Соловья, съели и умчались прочь.

Об этом происшествии долго судачили в Большом Лесу. Кто говорил, что эти Ястребы из очень далекого Задального Леса — и они, мол, ничего не слышали о Соловье-певце. В тот день они летели на охоту, увидели большое скопление животных и съели первую попавшуюся птицу. Кто говорил, что это посланники Птичьего Бога забрали Соловья на небо, чтобы сам Бог мог бы насладиться его пением. Кто говорил еще как. Истинную правду знал только Гриф-король. И он радовался: ведь теперь он король, а не какой-то Соловей!

Одного только Гриф не знал. Что стоял рядом с Соловьем-певцом в тот день никому не известный Молодой Соловей-мечтатель и слушал Великого Соловья. И пройдет немного

времени, и запоем новый Великий Соловей. А за ним еще и еще. Вот так.

Да! Чуть не забыл. Ведь первому Соловью-певцу даже памятник поставили. Не верите? Сходите, посмотрите, он и сейчас в Глухом Лесу стоит. Как огурчик. Правда, слегка загажен воронами...



ГАЛИНА ШЕКИНА

После окончания Воронежского университета около 10 лет работала экономистом в управлении связи и на 23 ГПЗ. Первые пробы пера относятся к 1985 году. В 1989 году стала членом заводского литобъединения «Ступени», после чего пришла на работу в редакцию газеты «Вологодский подшиппник». Кроме «ВП» печаталась в «Красном Севере» и «Вологодском комсомольце».

ИРА, ГЕРА, ШУРА...

Душ шумит! Вода летит на пол, спины, от них — на стены и от стен — брызги в разные стороны. Слава богу, конец смены. Из этих столбов водяного тумана, как из водопада, Верочка говорит мечтательно про топ.

— Сделаю топ из этого оранжевого, и буду как настурция.

— А мне из чего сделать топ? — мылятся Шура.

— Тебе, Шурочка, никак. У тебя фигуры нет.

— Это у тебя ничего нет, а у меня всего полно!

— Так ведь грудь не стоит же...

— Так нет, а вот так... — Шура резко наклонилась. Хохот грохнул на всю раздевалку. А Шура бормочет: «Двое детей, да сам третий, да и грудь им не такая...»

Сам третий у Шуры уехал на север, завербовался. Поэтому у нее проснулось самолюбие свободной женщины, и она еще за себя постоит. Постылый хвост обрежет, сделает косую прядь на щеку, как в тридцатые годы, а синий крепдешин в белый горох уже есть! Куда там Верочке с топом!

Мы тогда, конечно, не подозревали, что из этой свободы выйдет. А вышло вот что.

Шура работала контролером ОТК с нашей Верочкой в одном цехе. И вот как-то раз привезли на завод арбузы по десять копеек за кило (в тех местах — дело обычное). Все и набрали по мешку, да не по одному. Забитые конторс-

кие девицы вроде нас маялись со своими мешками у ворот, кланчили попутку. Тем временем набежали тучи, сразу запылило и полезло в глаза. Так захотелось домой, что бросили бы эти арбузы. Мы оглянуться не успели, как Шурины мешки забухали в чей-то мотоцикл с прицепом. Она только лоб косынкой вытерла, нам подмигнула, да пошла пешком за ревущим мотоциклом. Вид у нее был довольный, не то, что у нас. Мы уже в потемках таскали свои арбузы, причем намокли. А Шурочка еще до дождя сбегала в город за картошкой, в погреб за солеными синенькими и помидорами по-армянски. Ох, как на Кубани все это умеют! А бутылка была.

Мотоциклист явно не стремился уходить. Спустил часть арбузов в погреб, умылся под шлангом. Шура дала ему полотенце, а он, глянув так снизу — дочерна загорелый, только волосы выгорели, а глаза серые, холодные, как лед: «Звать Маратом». Она вроде дрогнула, но ничего, не сдавалась. Свободная женщина!

Дети Ира и Гера были дома, глазели и шептались. Они взяли миску с холодной картошкой и тающим куском масла, выкатили себе арбуз — и на веранду. Когда глаза у Шуры попривыкли, она заметила якорьки на руках.

— Плаваешь?

— Списан.

— За что же?

— За то самое.

— А-а. И что дальше будешь делать?

— Что и раньше — деньги зарабатывать.

— Где?

— Например, в баре.

— Ну, зарабатывают на заводе, в баре воруют. Одну кружку недолеешь, другую.

— А зато потом сразу кружку денег! — И он захохотал.

— С такими-то глазами... — но спохватилась.

Красота — понятие растяжимое, но одно было ясно: такой своего не упустит. И по Шуре это было видно на следующий же день! Вся свежая, затуманенная, рот рдел невыносимо, влажные глаза прятала, ямочки выдавали. Брак, естественно, пропустила. Пока решался вопрос с баром, товарищ чинил частникам машины, потому что был неплохой механик, греб деньги, которыми и сорил. Для этого он с треском и шиком подкатывал к проходной в самый неурочный час и вызывал Шуру. Особенно после того, как началась школа, и детей днями дома не было. А когда были, то смотрели на дядю то ли презрительно, то ли снисходительно. Не то

чтобы они с ним не разговаривали, наоборот, просто держали вежливый нейтралитет.

Цеховая раздевалка от зависти стонала. Тем временем Шура лихорадочно переодевалась и невнятно бормотала: «Ничего вы не понимаете... У него была кошмарная жизнь... Столько голодал, деньги никогда не держались, бабы раскручивали...»

— Неужели? — умирали от смеха бабы. — А костюмчик из коричневого шитья, маде ин Югославия, ведь это он в магазине сто, да и то, может, в валютном. На толкане он все двести.

— Я хоть кормлю! — сердилась Шура. — Весь погреб скормлю!

— И весь сад, и весь огород! — веселились бабы.

— И сад! И огород! — горя лицом, Шура хлопала дверью и уносилась прочь.

Каждый день мы ждали от Верочки сводок. И сводки были одна другой сказочней. Один раз Верочка пошла к Шуре обрывать сад. Пока Вера зависала на одном дереве (а ведь она довольно шустрая), товарищ Марат оборвал два. Гера с Ирой таскали и мыли банки, у Шуры кипело на двух плитах. Потом Шура стала начинять банки компотами и пятиминутками, он закатывал. И спустили в подвал двадцать банок. Вера приползла с ведром яблок уже к ночи, мы ими хрустели и стонали от зависти. И жизнь бьет ключом, и севера не надо.

А работать стал Марат в 'техмастерских. Какой там бар! Вскоре Верочка перешла в другой цех. Прошла зима, началась весна. Купаться мы там начинали уже в апреле, сперва на лимане, потом ездили на дальний пляж и Зеленый остров на моторке Верочкиного Саши. Море было теплое, пиво соленое, тарань душистая и слабовяленая. От Шуриной истории мы как-то удалились. В тех местах вообще трудно жить умно. Слишком много удовольствий для тела, а голова действовать, увы, перестает. Много времени спустя мы узнали через Веру, что Марат летом ездил в колхоз, а Шуре поздно идти за направлением. И посему она стала темнеть лицом и ходить в балахонах. Что делать — удавиться или подождать — было неизвестно.

Марат приехал из колхоза счастливый, поцеловал Шуру в ухо и сказал:

— Молодец, что не сделала.

— Какая молодец! — воскликнула, наливаясь слезами, Шура. — На то лето Петя явится!

— Ну и что? Петя приедет, а ты ко мне переедешь.

— Переедешь... А дети? Куда они-то от отца поедут?

Зимой Шура поехала в роддом и родила красивого белокурого мальчика, такие всегда бывают от большой любви. Что тут началось! Вера не знала, а каком цехе она уже работает, моталась туда-сюда, собирала деньги. Началось всеобщее сочувствие, все понимали, что ожидает глупую Шуру. Завком тоже порядочную сумму выделил, там был тогда председателем паренек из литейки, молодой и чуткий. Баба, которая больше всех над Шурой издевалась, достала ей импортную коляску с треугольным окном, и еще накупила всякого — доверху коляску эту. При этом надо учесть, что казачки там прижимистые, зря деньги ни кидают.

Пришла к Шуре делегация. Дом чисто прибран, Шура в новом, стоящем колом стеганном халате и с прической сидит смотрит телевизор. Увидела коляску — вскочила, руками замахала:

— Куда, зачем? Несите назад!

— Все понятно: с ума сошла от скромности.

— Лучше покажи дите. Или спит?

— Да ты посмотри, какая машина! У кого еще есть такая? Тут Шура зажала рот, слезы горькие градом:

— Ведь оставила! Как вы не понимаете! Ос-та-ви-ла!

Делегация стала столбами, как на похоронах. Сделалось страшно.

— Да отнесите, отнесите это куда-нибудь! Ради бога!

— Ну нет,— Зина, пожилая учетчица, как хлопнет рукой по той коляске.— Это тебе памятник будет, б... ты хорошая.

И все с топотом вышли.

На другое утро опять звонила несчастная: мол, заберите! Но ей ответили тем, что средства оприходованы, чеки приложены и все такое. Так что несите в магазин!

Надрывался где-то у чужих крохотный Маратович, дома надрывалась Шура. Скоро Петя... Что ему скажешь?.. Убьет.

И здесь одно зло потянуло за собой другое... Дети, которые долго молчали, вдруг взбунтовались. Шуре всегда казалось, что они похожи на Петю статью и нутром — смуглые, татарские, эмоциональные (сама же Шура, напротив, русая, сероглазая, словом, белая лебедь), и потому они должны бы возненавидеть «дядинного» брата. Но они от накрытой коляски отшатнулись как от гроба. Ира сказала так:

— Его теперь кто возьмет, или он в детдоме жить будет?

— Я не знаю,— тихо сказала Шура,— я же расписалась, что разыскивать не буду.

— Его возьмет Марат,— сказал Гера.— Тебе не жалко, а ему жалко. У него никого нет.

— Мне тоже жалко...— прошелестела Шура и полезла за платком.

И тут Гера нагнулся и сказал куда-то в стену:

— Значит, ты и нас могла так не взять? И мы бы с Иркой тут у тебя не жили?

— Да вы чокнулись! — Закричала Шура.— Вы же мои!

— Мы не твои, а отцовы,— сказал грубо Гера.

С этого дня они дома есть перестали. «Поешьте,— уговаривала она их.— Ведь сдохнете».—«Не сдохнем»,— успокоила Ира. На третий день у них провалились глаза, и они не пошли в школу. Шура наспех оделась и побежала.

Ей, конечно, пришлось умолять всех подряд. Когда уговоры не действовали, звонила и главврачу, и заместителю. Как бы то ни было, в хорошую сторону всегда легче просить, чем в плохую. Она их меньше уговаривала, чем они ее в роддоме.

Аннулировала отказ, помчалась в Дом ребенка. Там ее невежливо спросили, в каком состоянии грудь. «Сцеживала»,— и залилась краской.

Наверно, в жизни могло так и не быть, но молва и Верочка утверждали, что Шура стала кормить прямо там, в приемной, не снимая пальто. Сестра несла ватку с фурацилином, но поздно: Маратович уже вцепился мертвой хваткой и покрывался сладостным потом... А потом Шура нетвердой походкой, неся охапку, пошла вон, и сестра побежала ее проводить...

Дома остывал дымный бак с кипяченой водой, а также сидели унылые Ира и Гера. Молча подошли, отогнули угол. И что оно такое, чтоб из-за него так страдать? Пожали плечами, и неторопливо, даже как-то нехотя пошли... греть борщ. Они ели медленно, как усталые взрослые люди, не кидались хлебом, не включали телевизор, не ржали...

Петя написал, что приедет летом, но все не ехал. Дети долго морились в ожидании, но потом все же уехали в пионерлагерь во вторую смену. Да и какие они заступники?

Он пришел вечером, чужой и некрасивый, почему-то в бороде и усах, которые ему не шли. Пеленки заметил сразу...

Сел в прихожке на табуретку и долго курил. Вроде не курил же! Шура не знала, что говорить, и молчала, до судорог вцепившись в утюг. Думала — сразу уйдет или начнет делиться? Но он оказался не такой простой. Сходил



во дворе в душ, хорошо налаженный его первым врагом. Раскрыл чемоданы, оттуда коньяк. Шура понятливая, наставила пряных солений. Крепко выпили и поели, все молча. Спавший невинным сном Валера даже не проснулся.

— Сколько ему?

— Скоро шесть.

Сходил, посмотрел:

— Так, хорошо. Пошли.

Шура за ним — как в бреду. Зашли в летнюю кухню. Он толстую дверь запер и сказал, что теперь он ее, курву, убивать будет, И выходил ее ремнем до беспамятства, так, что спина надулась подушкой. Проревевшись, глянула на часы: и двадцати минут не было, а она подумала — два часа.

Ночью проснулась — Петя-изверг сидит и курит (не курил же!). И опять выходил ее, но только по-другому...

А утром пошел с импортной коляской гулять. Только раз он Шуре припомнил! Он с приятелем насчет севера говорил, мол, поезжай один, без меня. Старый стал младенцев-то качать, и этих — за глаза. Это было уже после того, как мы оттуда уехали, а Валера подрос и ходил в садик.

А как же Марат? Тот, напротив, никуда не уехал. Он купил шикарный дом на лимане и живет. Не женился.

ПРОДАЛА КАПИТОЛИНА КОРОВУ...

Продала Капитолина корову —
Незадешево, почти что за тыщу...

О. Фокина. «Сказ о телевизоре»

Добиралась домой в надежде на хорошее. Все ж таки дом, огород, живности столько, ко всему надо руки заботливые приложить. После долгой хвори на улице кажется сладко и хмельно, охота дышать и не думать. Идучи с автобуса, Капитолина с племянницей молчали.

Мужа Капитолины дома не оказалось, скотина ревела дурняком от голода. Ключ лежал на месте, но в дому было неприбрано и голо, вроде как в нежилом месте. Не знаешь, за что хвататься... Племянница кинулась в погреб, потом чугуны запаривать, глядь — а Капитолина как ни в чем ни бывало села на кровать, гладко причесалась и говорит — обход скоро... Господи, спаси и помилуй. Племянница было в слезы, да что теперь сделаешь...

Капитолина всю жизнь прожила в глухом северном уезде. Работала она на почтовое ведомство — пудовую сумку на плечо и ну версты мерять. Ходила она по метелям и солнцепеку, и потому была темная лицом и светлая глазами.

Дома она по вечерам еще со скотиной билась: корова, хрюшки, птицы на полдвора. И огород изрядный. Но все это не было какими-то кандалами и шло само собой. Повезло, видать, и с мужем — добродушен был, на еду не капризный, на работу безотказный. Сын в него пошел нравом и ко всему был быстрый на руку и легкий на ногу. Не раз с сумкой почтовой бегал, пока мать болела.

Подошли годы сыну служить, забрали в армию. Дом их большой часто стоял теперь без огня, когда родители пропадали на работе. Раз приходит Капитолина в сумерки и видит — дверь настежь, все переколошкано... Ой, воры! Прибралась, очухалась, слезы вытерла, пересмотрела, что пропало. Одежда вроде вся на месте, только вот простыни, покрывала, занавески заграничные из комода. Обидно, дыра в хозяйстве. Решила подать заявление в милицию. Там взяли бумагу и все обещали сыскать; Капитолина, доверчивая, стала ждать.

Пока ждала, ее через пару месяцев снова обчистили, унесли переносной приемник и стиральную машину «Малютка». Муж пришел домой, а Капитолина не прибирается, не бегает, а сидит, подпершись — знай, строчит. «Опять заявление?»—«Опять»—«Толку-то». Кстати прибавила, что видела развешанные в чужом дворе похожие занавески. После этого служба зашевелилась живей, и пошел человек в форме опрашивать соседей. Толк был таков: ее вызвали по бумажке и велели прекратить клевету. Мол, занавески в раймаге были одинаковые, их весь околоток закупил. И нечего тут! Капитолина вернулась с проработки словно побитая, и ей показалось, что некоторые этому очень даже рады.

После третьего налета она и вовсе затвердела, написала в райком и в газету, что милиция даром хлеб ест. Муж был мужик умный и не советовал так круто забирать, но Капитолина на своем стояла: раз добро пропало, надо хоть правды добиваться.

Опять вызывали и все насчет клеветы нажимали.

Капитолина обиделась и написала в область. Дней через несколько приехала к ее двору машина милицейская, в ней двое в форме и один в белом халате. Разговаривали противно, все намекали, и она стала на них кричать. Они тогда покачали головами и сделали ей укол, после чего она обеспамятила. Сутки спала!

Тут бы ей самое время опомниться, забыть про свои занавески и затихнуть. Сказано ведь, что жизнь дороже бахла.

...так Капитолина ведь не то что тряпок жалела, а справедливости хотела. Прямо как заболела ею, как сглазом каким! И написала еще одно письмо в газету, аж в столицу.

Из-за этого письма тихий муж напился, а потом спросил — а что я тебе сделал, что ты меня перед столицей позоришь? А Капитолина удивилась, с чего тут особенно трусить. А он сказал, что ты, мол, деревенская, а не знаешь, а он вот городской — и знает. И пошел, и выхлебал всю брагу в сенях.

Через две недели либо около того приехала к Капитолине другая машина, с красным крестом. Снова поговорили, придержали за руки, сделали укол, а когда отключилась, одели и увезли. Так и попала Капитолина в больницу лечиться.

Там ее кололи каждый день не по разу, кормили всякой химией и не выпускали на улицу. Она это терпела, понимала, что это наказание за правду и что конец этому будет. Но потом ее перевели к буйным, и она стала духом падать очень быстро. Она ведь любила ходить с задранной головой, а эти не выносили, когда на них смотрят, да еще искоса. Капитолина несколько раз получила по шее, а такие тычки сразу с ног валили — и стала смотреть только в пол. Она стала совсем плохо спать по ночам. Однажды она услышала, как больная говорила с родными по телефону. Что-то тронулось у нее внутри, и пришлось проглотить комок. Своей тяжелой порченной головой она вспомнила про дальнюю двоюродную племянницу. Племянница сушила мозги в важной конторе и, наверное, знала, как плавать в бумажном-то море...

Племянница как ее услышала, так даже застонала. И тут же начала хлопотать. К докторам кинулась. Те говорят — полечим и отпустим. А чем болеет? Историю болезни никак нельзя. Один курс кончили — другой начали. Кто велел? Комиссия. Три курса. Не выпускают. К главному в ноги. Тот поломался и сказал, что теперь вроде можно отпустить, но раз доставила милиция, пусть она и забирает. А она не забирает!

Тогда обратилась племянница к судебному начальству. Опять толку нет: месяц ни одного начальника на месте застать не могла. А потом один сказал, что милиция сделала все по закону — конечно, кто будет бочку катить на своих же.

Стала просить одного хорошего знакомого во внутренних делах, мол, выручи, проверь только, все ли так страшно с тетей Капой. Но он шепотом попросил забыть его фамилию. Милиционер с участка сказал, что мне терять нечего,

я старый, но тут ничего не сделаешь, гиблое дело, в общем. Как от чумы все! «Пусть лечится!» От чего, от жизни? Одна племянница знала, что, чем дольше тетка лечится, тем хуже болеет.

Изредка приезжал к бедной Капе ее муж. Привозил ей мед и сало, которые к ней не попадали то ли по причине закрытого отделения, то ли по причине особой диеты. Когда ее стали выпускать к родным — другое дело. В один приезд он сказал, что хозяйство надо рушить, он его волочь больше не может. Капитолина попросила его потянуть, подождать. Лишних кур и уток можно забить, хрюшек выгодно продать на базаре, а потом и новых поросят взять. От этих разговоров Капа оживлялась и розовела лицом, вроде, держали ее заботы в нормальной жизни-то. Но потом у нее занули все суставы, стало печь огнем внутри, и она замолчала. Ей стало все равно.

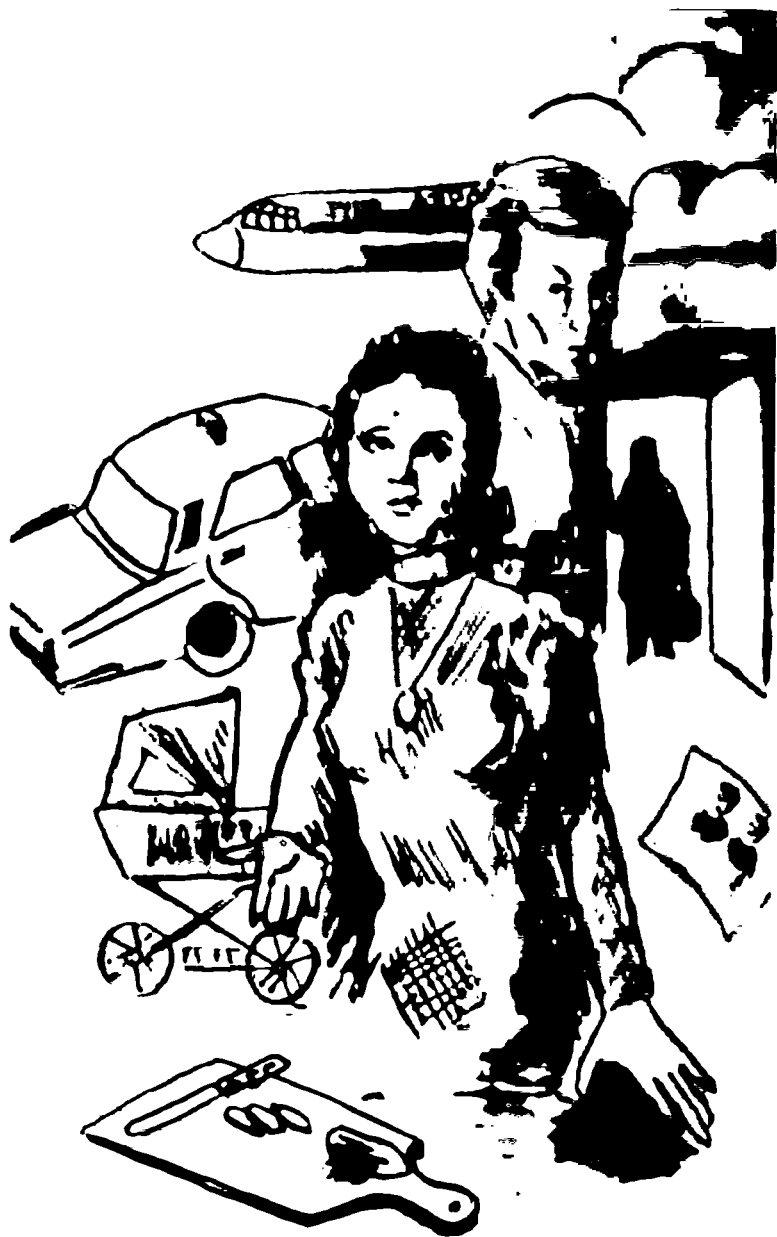
Так прошло почти два года. Позвонили племяннице из больницы, что тетка выписана, занимает место. Больница маленькая, больных много. Про милицию ни слова. Как вышла тетка Капа, так племянница и заплакала над ней. Ростом стала мала, ссохлась, постарела, смотрит в пол и зовет на «вы». И все головой кивает, как соглашается. А как стали брать билет на автобус, тетя Капа зашептала — и вы поезжайте, не доехать мне... Вот и доехали!

Вечером пришел с работы муж, обнял племянницу, колбасу по червонцу из дорогого магазина снес на холод и налил в стаканы, чего у него там было. Он понял, что зря бился, как рыба об лед.

Хрюшек продавать было некому и их сдали по дешевке в столовую. Самое главное — пришлось продавать корову. Пока он нашел таких, чтобы в хорошие руки... Он сам доил несчастную, а Капа даже не вникала. Не ходила с ней разговаривать и гладить, как раньше. Что ж, отдали, наконец, в совхоз, взяли неплохие деньги, а корова через три дня, с оборванной веревкой на шее, вся в репьях, припелась. Снова надо увозить, вот какое недело.

Опять загрузили страдалицу в кузов, муж Капы сам помогал, но вот взгляды коровы из култыхающей машины он выдержать не смог, закашлял. Капа стояла как посторонняя, кивала.

Остались в пустом дворе куры, которые жили в бурьяне. Муж стал часто выпивать и не ночевал дома, потому что страшно ему было. Он жалел Капу про себя, молча, но говорить про такое не умел. А Капитолина потихоньку все отходила, пока не пошла на свою почту работать.



Но когда приехал домой отслуживший в армии сын, он не узнал матери. И то: Капитолина все понимала, была разумная и тихая, но это была уже не она.

ДЕТИ ИЗ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА

У меня все подруги не замужем! Но в сказках так наказывались лентяи и злые души, а в жизни все гораздо хуже. Девки изумительные, все шьют-вяжут, пироги пекут, по кабакам не шляются, а выходит — никому не нужны. То есть, они, конечно, работают инженерами и учителями, а в выходные дни еще ходят как ненормальные кирпичи таскать для какой-нибудь церкви. Совершенно напрасно надеясь встретить там энтузиастов мужского пола. Какое простодушие... Но любая работа — ничто, если рядом нет близкого человека, нет детей. Нет ничего горше, чем невостребованная любовь и нежность... Я отлично понимаю их, я сама такая же точно, и тоже была обречена, но мне повезло в последний момент и причем незаслуженно, за счет чужого горя. Только эту леденящую кровь историю я расскажу вам потом.

Несмотря на то, что подруга Инночка честно закончила институт и работала конструктором, она этого стыдилась: «Жалко, что я пещерная, — говорила она, — нельзя в наше время конторской крысой сидеть». И опускала голову. Внешне она была так себе, хрупкая и бледненькая, только что волосы густые, в мелкое кольцо, ну еще родинки. Одежда ее сильно преображала, особенно эта блузочка в крапинку: высокие буфы, глухой высокий ворот, по кромке — мелкая оборка, тяжелый серебряный медальон... Чеховский образ. Но она как-то не увлекалась модой, сонно листала журналы, пожимала плечиком. И опять влезала в серый трикотажный костюмчик.

Она возникала бесшумно, вешала плащ и садилась к окну:

— Давай что-нибудь почищу. Вон лук лежит.

У меня как обычно: машина в ванной урчит, сковородка скворчит, дети дерутся. Я достаю лук, нож, тарелку.

— Скажи, что у тебя новенького.

— Да вот, прочитала Фолкнера. (А до этого были Достоевский, Лесков...)

— Какой том?

— Да всего.

Она читала не книжками, а собраниями. О чем с ней

говорить? Я на что люблю Фолкнера, и то мне далеко до полного собрания. А что мужики читают? Охо-хо.

— А на личном? — спрашиваю.

— На личном — ничего.

— А из Прибалтики?

Укоризненный взгляд и молчание.

— Что ж тогда так давно не бывала?

— Так ведь некогда. Киноабонемент. Университет марксизма-ленинизма...

— Слава Богу, вот как раз этого добра в тебе, по-моему, достаточно.

— Так ведь заставили.

— Ну, дальше.

— Дальше аэробика два раза в неделю.

— Ты, на аэробiku? Зачем? Ты и так худая!

— Я для пластики.

— Бедная моя, — целую ее в висок. — С кем же мне тебя свести, чтобы и с Фолкнером, и с пластикой? Достоевский — ладно, его русофилы любят, модно теперь; но Фолкнер...

— Да это все равно. Я и русофилов тоже не люблю. Для них одни люди, другие — нет.

И ничего-то она не любит. И так всегда. В один год окончила курсы, поехала на пароходике с экскурсией. Опять не помогло. Привязался, правда, один любопытный товарищ, зачитывал стихами, целовал за каждую пуговицу, а уж как совсем завелся, она его грубо оттолкнула и убежала. Пусть корчится мужик.

— Да зачем же ты?!

— Для таких людей стихи — отмычка.

— Но ты же требуешь — вот человек и старается.

— Да нет, он совсем чужой. Не могу я с таким.

— А с каким? Сначала все чужие. Потом сближаются.

— А я могу только с мужем.

Видели ее? Дождалась до тридцати, а воз и ныне там. Шила она тогда кучерское пальто, это превосходная штука — колокол плюс накидка с капюшоном, ну просто — пушкинский образ. Сшила и поехала в нем в Полтаву. У них заведено было тогда: поехал, конверт бросил — и домой. Бумаги к оплате вовремя успевают, и колбасы можно закупить, а что деньги летят — так не личные. После Полтавы нет ее и нет. Ну, думаю, — не роман ли хоть? Однако через месяц восходит на моей шумной кухне.

— Привет, что хорошенького скажешь?

- Привет. Давай что-нибудь порежу.
- Да брось ты. Как дела? Говори скорей, а то умру!
- Какие там дела.
- Личные, личные. Ну?
- Слушай, а как это начинается? Я, видимо, залетела.
- Что-о? — я просто потеряла дар речи.

Инночка аккуратно опустила конверт в почтовый ящик, похожий на полированный деревянный дом. Такие всегда стоят на почтамте. Пошла по магазинам. Она и не заметила, где именно возник за плечом некто. И давай шутить и рассыпаться — а вот я покажу вам такие магазины, где... А что это вы все молчите, вам не надоело быть загадкой, вы как та девочка с хвостом у Андерсена, наверное, вы просто замерзли. Так пойдемте, тут недалеко! Очень быстро темнело, а угрожающих размеров сумка резала плечо. Сначала они пошли в бар: кофе, галеты — два раза, затем кофе с ликером, коктейль и соленые орешки... Все равно молчит Инночка, улыбается. Тогда он сменил тактику: ладно, тут стало скучно, а вот у меня тетя недалеко живет, могу познакомить.

В квартиру проник первый, пальто неосторожно бросил на пол и тут же стал артистически и самозабвенно спутницу целовать. А сам без отрыва то башмаки шурнет под шкаф, то рукой что-то задернет. Однако женщине приятно такое внимание, она не отстранялась. Но вот он стал ее расстегивать как-то слишком быстро и заученно. И вдруг остановился. Его дама, раскинув руки и неприлично трясясь, хотала. Это было неуместно и даже нагло.

- Что такое? Я тебе не нравлюсь?
- Нет, почему... — задыхалась она, — но так нельзя...
- Что именно?
- Ну, валить так сразу.
- Когда-то все равно надо валить, не так ли?
- Разумеется, но прежде надо организовать предысторию. Мол, любил такую-то... Даже хотел жениться, но она... Здесь кошмар надо вставить!.. И с тех пор... И тут наконец вы... Понятно?

Он поскуцнел.

— Ладно, хватит меня учить. Учи там, у себя... Откуда ты?

- Из духовного центра русского Севера.
 - Вот и давай, работай в центре.
 - Охотников пока немного нашлось.
 - Что ж ты к первопроходчикам так небрежна?
 - Ну, я еще не так стара и дурна собой. Как видите.
- И звать-величать Потокина Инна Ардалионовна.

— А меня Давид Рубинштейн. Давид Борисович,— и поклонился полураздетый.

— Разве? — ахнув, она привстала.— А непохоже. Впрочем, я в этом не разбираюсь.

— Приятно слышать от всезнайки... Но не вернуться ли к старому вопросу: целоваться будет гражданка Потокина?

— Нет, не будет.

— В таком случае я вынужден применить подкуп и шантаж. Пойду проверю ресурсы.

— Стойте! — и он остановился, склонив красивую голову.

— Вернитесь и все сделайте как было.

— Но это уже похоже на прощение, и я... м-м-м...

— Все-все, теперь идите.

Они оделись и познакомились.

Он сделал запеканку из ветчины и баночной фасоли и, веселый, кормил даму и поил, показывал непристойные журналы, смешил и смешил до смерти. Но сам ее больше не трогал. А потом вызвал такси и отвез в аэропорт, который был далеко за городом, а на улице колыхалась глухая ночь. Все окошки были закрыты, лишь в одном сказали, что на Москву ничего до утра нет. Инна не могла поверить, что приключение кончится такой гадостью, и всхлипнула. Затем мимо нее в окошечко проплыла знакомая смуглая рука ладонью вниз. Лицо кассирши пошло рябью, видно, она боролась с собой. Обратно рука вернулась с билетом.

— Так у тебя, смешная девочка, никого не было?

— Нет, не было.

— С чего же такие сентенции? Научил кто?

— Да ну. Просто я не люблю все эти приемы...

— Это глупо. И если тебя еще не разбудили, так это как раз...

— Не глупо. Техника без радости — это разврат.

— А радость без техники — пещерность.

— Радость всегда чудо, с техникой или без.

— Ну ладно, дитя, живи в ожидании чуда, но торопись на посадку. Слышишь? — и он провел пальцем по ее скуле. И курил, прищурясь. И тогда она сама стала его целовать, видите, какое дело.

И самолет был пропущен, и все такое.

Я уронила тарелку и проглотила комок.

— Опытный ловелас! — сказала я.— Он поймал тебя на самом уязвимом месте. На человеческом факторе. Но как насчет того, что он чужой?

— Понимаешь...— она развела ножом и огурцом.— У

меня была хоть призрачная, но свобода. Я ведь могла шагнуть за вертушку.

И все! Но меня поразило, что он так спокойно меня отпускает! Что не в его правилах...

— Ничего себе свобода! Ты уже ходила, куда надо?

— Ходила. И еще раз пойду.

Так началась эта горькая эпопея.

Один раз она все подготовила, все сдала. И у последнего рубежа, в раздевалке — глядь! — та самая особа с Инночкиной работы, Которая прежде всего всем расскажет. И потом, не ей ли Инночка доказывала, споря до хрипоты, что внебрачный ребенок — тоже выход... Но, выходит,— не для нее? Убежала. Пришлось все снова.

На второй раз ее бесцеремонно прогнали. «Не дури ты нас, не дури,— сказали ей строго.— Плод слишком большой, это опасно. Не знаем, какие двенадцать недель тебе участковая поставила. Иди на учет и рожай».

— Не понимаю, в чем дело,— бормотала Инна, прижавшись лбом к оконной раме.— Господи, какой ужас. Ведь я знаю, что срок маленький, а они...

— Будешь ему сообщать?

— Ни за что. Лучше умру.

— Но, может, он счастлив будет!

Она посмотрела на меня с презрением.

Я не буду тут подробно вспоминать, что творилось с ее родителями. Как «я, старый большевик Ардалион Потокин, всю жизнь свою положил, а моя дочь, как последняя», как «в наше время загибали подол и вели по деревне», и что, разумеется, «лучше руки на себя наложить». Возможно, она соглашалась с ними, не огрызалась насчет наложения рук, а просто, нагнувшись, слизывала сбегаящие едкие капли. Она была такая тщедушная, а живот пугающе большой, так что ей приходилось двигаться, наклонившись назад.

Последние недели торчала на сохранении. Из роддома позвонила сама и сказала застенчиво, что у нее двойня. Видимо, вторую головку непросто было прощупать на раннем сроке. В любом деле казусы бывают. Однако после аналогичного застенчивого звонка ее маменька, тоже старая большевичка, положившая жизнь, поехала в больницу с инфарктом. Я же понеслась закупать все в двойном размере, да еще коляска, стоявшая у меня наготове, не сгодилась, надо было искать широкую... Она помахала мне из окна, завернувшись в одеяло, и показалась мне что-то уж очень красивой. Я крикнула:

— Давно бы так! Адрес где полтавский?

— Не смей! — замотала она головой.

Мы с Танюшкой скрепились и привезли орущую семейку домой. Такси и торты — все было как положено. Недели через две и маменьку-сердечницу доставили, оклемалась она на удивление быстро. Да и то сказать, что ни проклинать, ни тем более накладывать руки было уже некогда, и маменька быстро впряглась в упряжку. Бегала и сестра из поликлиники. Но все равно: один спит, другой орет. Потом наоборот. Соски этими хулиганами не признавались. Молоко у нее было, но от резкого введения кефира — как обычно — грянули неприятности, пришлось даже в инфекционке полежать, а там кокки в грудном молоке нашли, стерилизовать заставили. Счастливо избежав мастита, вернулись домой, и все пошло по-старому. Не знаю, откуда она брала силы.

Наступил первый в жизни настоящий день рождения. Мы с Танюшкой завернули по великому благу доставшиеся болгарские махровые комплекты, забрали моих из садика и пошли. А там уже и стол раздвинули, и умытого седенького папу на кресле придвинули, и маменька, ворча, протирала бокалы.

Ничего-то вы не умеете, даже стол накрыть. Как вы жить будете? Я в свое время гостей принимала по тридцать человек.

Пацаны Валя и Толя были перемазаны кашей, но видать, что сильно похожи. Только один посветлее и с родинкой. А второй будто погуще раскрашен.

— Слушай, их не спутать,— нежно сказала я.— С родинкой кто?

— С родинкой Валик. Садитесь скорей, пока молчат. Танюшка, там сухарь в холодильнике.

Мои дети, потрясенные обилием «тютюшек», сидели перед ними на полу и балдели. Я их призывала к двум тортам — коричневому чешскому и наполеону, они не реагировали.

— Придется мне тоже родить девочку,— шепотом сказала Танюшка.

— Еще чего! — грозно отозвалась маменька.— Галенька, скажите этой юной безумице...

— Я давно уже не юная,— прошептала Танюшка.

Долго мы сидели у Инки. Маменька с разгоревшимся лицом озабоченно уводила спать папеньку. Потом они вместе утаскивали ребят, а мы пели и пели песни под гитару. И во мне все время что-то росло и раздувалось, так что трудно было терпеть. Я как-то улыбалась, шутила, а потом все же украла этот адрес. И лихорадочно, быстро собрав сонных детей, убежала на троллейбус.

«Здравствуйте, уважаемый Давид. Простите меня, что вмешиваюсь в чужие дела, но я подруга Инны Потокиной и вчера была у нее на дне рождения ваших сыновей. Если у вас уже есть семья, то я поступаю очень бестактно, но мне тяжело быть тактичной, так как я все время реву. Вы ничего не должны материально, и вы вообще можете не отвечать, тем более, что Инка не знает ничего и не простит мне этой выходки. Но ведь надо, чтобы вы это знали. Посмотрите на фото, Валику и Толику тут по десять месяцев. Как они вам? Особенно Толик, он справа».

Подпись я поставила, а адрес не стала. Адрес я написала ее. Бросила конверт в полированный деревянный дом на почтамте. Как я дрожала, как надеялась, что его проберет, ведь живой же человек, ведь это он обнимал ее, целовал ее родинки, ронял на пол ее шикарное кучерское пальто...

Но он ничего не ответил и не приехал.

Смешно в наше время... Муж опять оказался прав. Когда я писала письмо, он только усмехнулся и спросил, сколько мне лет...

И все же моя выходка не осталась безнаказанной. Летом мы обычно уезжаем на свою волшебную гору и загораем до одурения. Около месяца нас в городе не было, а когда вернулись, я увидела открытку от Инки. Так я узнала о событии, за которое мне досталось.

Тихим летним вечером к дому Инки подошла пожилая женщина, но еще приятная, южного вида, с огромным модным баулом. Она посидела на лавочке с бабками, пораспрашивала, кто такие Потокины, хорошие ли люди, мол, приехала издалека, больше никого не знает, остановиться негде. Бабки ей наперебой затрещали, что да, люди чудные, только тесно у них, отец калека и дети маленькие, вот к нам-то пожалте, у нас и дети в отпуск укатили. Женщина разулыбалась, полная такая, цветущая, видно, что нетутошная. Поздно вечером она берет и к Инке приходит — добрый вечер, милая, я из Полтавы... Милую от ужаса даже затошнило, она в первые минуты была просто без сознания. А гостья знай ее по руке гладит — спокойно, прошу вас, я понимаю, что нервы, но я ничего плохого вам не сделаю, я только на детей посмотреть... Так Инка познакомилась со свекровью. Звали ее Майя Исааковна... Зимой она занялась у Давидика инвентаризацией, поскольку живут они раздельно, а женской твердой руки над ним нет. Давидик пиджак свой кожаный перестал носить, пришлось пустить его в дело, под подкладкой и обнаружилось... И протянула трепаную и завернутую целлофаном фотографию с надписью «Галке от Инны».

— Нашла я фотографию и покой потеряла,— мягко говорит Исааковна.— Один-то слишком напоминает Давида. Выбрала момент и поговорила с ним.

Ну, женщин у него было много, но вот с одной дело затнулось, а там и заявление отнесли. И внезапно перед самой свадьбой — у меня уже было все приготовлено! — ссора, да такая нелепая. И все, понимаете? Может, он ей рассказал про эту фотографию, а она вспылила? Может, сам не счел удобным... В общем, он не женился, в душе ад, мне тогда подал ваш адрес, посмотрел нехорошим пустым взглядом и вышел. А мне что прикажете?

В тот памятный вечер Инка нарыдалась вдоволь. На другое утро они тютюкались с двойняшками вместе. Старые большевики были в обмороке от родственницы, а она не очень-то смотрела на обмороки. Она работала за троих — варила, стирала, дышала тучно. Из баула Исааковна извлекла много чудесных тряпок для детей. Много было не по размеру, и она восклицала: «Ах, но на юге дети намного крупнее!» Под конец они даже съездили в фотографию. Инка все вынесла достойно. Выругав меня за инициативу, она жалобно говорила, что следовало в лицо швырнуть все подарочки, да сил не было.

— Что я могу решить за взрослого мужчину? — жарко говорила Исааковна, собираясь на вокзал.— Я про себя скажу — счастлива. И еще больше буду счастлива, если ты замуж выйдешь, дорогая. Но не лишай меня этих ангелов, кто бы ни был твой избранник.

С тех пор Инночка как бы заимела родственников за границей. Ей пошли посылки, деньги, книжки и одежды для детей, вкусные вещи в баночках и пластике, и даже косметические причиндалы. Все это, конечно, не искупает той тоски, с которой она вспоминала свое приключение, но в нашем городе, с нашей нищенской зарплатой это все же кое-что. И что самое интересное — Исааковна до сей поры не прекратила своих налетов. Дети Валик и Толик в школу пошли, а она все квохчет над ними, как в тот, первый раз... И почему-то ни разу не усомнилась — а мои ли это внуки, не нагуляны ли они еще от кого.

Даже старые большевики к ней привыкли.

КОЛБАСНАЯ ЭПОПЕЯ

Я влетаю, на ходу стряхивая пальто, запыхавшись. Марта уже гремит чайником. На ней новая шикарная юбка в полоску, пышно собранная на фигурный бархатный пояс.

— Привет, Марта! Какая ты сегодня...— Я шумно падаю на стул.

— Ну что за мука — таскаться в такую даль. Два троллейбуса мимо, в третьем, как под прессом. Ужас.

— А ты поменяй квартиру из центра на наш микрорайон,— ехидно говорит Марта.

— Квартира не моя,— роняю я. Наскоро крашусь и начинаю шелестеть формами.

— Ты слишком рьяный работник,— замечает Марта.— Потому тебе и оклад выше дали, хотя я же тебя учила, а не ты меня.

— Откуда видно, что рьяный? — простодушно спрашиваю я.

— Тонак неравномерно.

— А! Сейчас,— хватаюсь за зеркальце, Марта за формы. Мы очень хорошо все успели.

Сидим, строчим, чайник уже кипит, и тут входит Серафима, начальник нашего бюро. Она мощная, но очень быстрая в движениях, лучится бусами и улыбкой.

— Девочки, это не бюро анализа?

В ответ мы молчим и тупо моргаем.

— Там ведь не написано,— поясняет она.

— А-а! — смеемся мы наконец, третий день, как переехали, не до вывески.

— Ну и напрасно. По вывеске встречают, по уму провожают.

— Береги вывеску снову, а честь смолоду! — подхватываем мы.

— Береги вывеску, пока ее тебе не испортили...

Ах, как долго мы жили у плановиков, ни дать ни взять — бедные родственники, а тут сразу свой кабинет, да еще кладовочка с розеткой. Мы ее слегка обустроили и обклеили, поставили старый журнальный столик — чем не чайная комната? Чудо. Кстати, там во всю клокочет чайник.

— Какие все деловые, чайник некому выключить...— Довольная Серафима качает головой и удаляется.

— Девочки,— аукает она издали,— я позвала на чай Сонюшку Терентьевну.

— Зачем же эту выдру?

— Затем, что она начальник — чего? — сами знаете. А нам все же нужна вывеска, да зановесочки, да вазочки под цветочки. Так?

— Нет, не так,— мрачно говорю я,— не украшаться мы должны, а судьбу замаливать. Не то нас живо разгонят.

Вот ты и замаливай. А мы с Мартой насчет чая сообразим. Марта, иди сюда, у меня тут вареньеице, салатик из хека...

И они там бурно звякают и шуршат. Все это здорово, но вот идет квадратная Софьюшка Терентьевна в крутой рыжей завивке и индийской зеленой кофте. Она ахает, одобряя комнатку, садится и уютно прихлебывает.

— А это что?

— Картинки из «Плэйбоя».

Самые рискованные мы завесили шторкой из джинсовой рекламы. Но она занавесочку откинула и... Немая сцена! Сонюшка прихлебывает и тут же давится. Моментально ставши красной, точно после парилки, она почему-то начинает суетиться и все отодвигать.

— Спасибо за чай,— говорит она с сожалением,— от вас, девочки, не ожидала... Ну вы тут работайте, мне тоже некогда.

— Другие веселятся...— тяну я, пока Софьюшка чешет на выход.

— Она не замужем,— Серафима смачно накладывает варенье, но сама трясется от смеха и капает вареньем с ложки.

— А занавесочки? — умильно напоминает Марта,— неужели забыли?

— Какие уж тут занавесочки,— машет Серафима.

— Ханжой не надо быть...

— У меня дети большие, и то я смущаюсь,— Серафима вытирает слезы,— ведь в жизни такое редко видишь.

— А вот Марта не смущается,— говорю я,— она только когда с тахты упала, будучи в объятиях, тогда смутилась.

Марта грозно показывает кулак.

Через десять минут этой разлюли-малины Серафима снова исчезает в потоке дел, а мы снова строчим, как ни в чем не бывало. Идет нормальный трудовой будень.

— Скучная штука сводки,— шепчу я под нос,— цехов-то, цехов. До ряби в глазах.

— С премиями было веселее?

О да, вспомнили мы: процент премиальных у начальства. В бухгалтерии на нас орали, а отделе труда округляли глаза... Одинаковая точка зрения, разная степень интеллигентности. Мы тогда долго копались в формах, отчетах, а потом обнаружили, что этот процент по сумме выше оклада. Но это же нехорошо, и из отчета приказано было изъять. Мало ли что вы там насчитаете!

— А теплоту сгорания смазки? Помнишь?

— Сульфозфрезоло. «Выясните теплоту сгорания при условии, что его никто никогда не сжигал».

— Вот-вот. Даже городская лаборатория не знала.

— Но мужику в котельной мы надоели.

— Только не ты. Ты, Марта, всем нравишься, ты очень сексапильная.

— Учти, это сейчас, при детях и муже-алкоголике. А представь в юности, когда у меня были мини-юбка, волосы белые до лопаток, талия в руку, а здесь — не меньше четвертого размера?

Заканчиваем строчить формы. Их так много, заполнять их так долго, а данных еще нет... Это угнетает.

Лучась и сияя, входит Серафима, в руках бумажки: «в колхоз три человека», «в цех три человека».

— Сейчас начнутся звонки и репрессии, надо исчезнуть на время, — радостно говорит она.

— Давайте в фотографию? А то разгонят — и памяти не останется!

— Давайте. У меня как раз прическа нынче...

Мы отваливаем без шума и по дороге узнаем новость — к празднику дадут колбасу! И Серафима, как член завкома, она тоже будет распределять — о! И лица на фотографиях у нас выходят почти возвышенные!

В цехе я выдерживаю только неделю. В обращении со станком у меня ни навыка, ни терпения: я нажимаю не туда, поворачиваю не то, и станок останавливается. После этого подходит наладчик и презирует:

— Откуда только вас присылают? Ничего не умеете!

Я стараюсь не выдавать место работы и помалкиваю. На другом месте у меня начинает все ломить и болеть, и я не в силах больше. Мой силуэт возникает в бюро анализа.

— Привет вам, бабы, — нежно говорю я, оглядываясь. Что такое произошло, пока меня не было? Серафимы опять нет. Марта воспаленно разговаривает по телефону, чайник никто не ставит. Я исправляю упущение, достаю постылые формочки, но тут какой-то вихрь вносит женщину в синем халате. Я еще ничего ей не сказала, а она уже слезы размазывает.

— Почему это у нас только четыреста человек? Как это так вы считаете? Одних декретников восемнадцать, что же они — не люди?

— Не знаю, мне про это ничего не сказали.

— Да как не сказали, для чего вы сидите-то? Справка вот.

ку.— Зачем взяла? На них не отпущено, на декретников.

— Чего не отпущено?

— Колбасы, дорогая! Дали только на наличную численность! И только! Одиннадцать тонн.

— Их что же, придется делить? Как развешивать такую громаду?

— Как учили,— гроыхнув столом, Марта достает пухлые ведомости.— Сверяй четвертый цех.

— Да разве мы сможем сверить все?..

— Отдел кадров тоже сверяет, не робей.

— А Серафима где? А формочки?

— Какие там формочки!

— «А цех? Какой там цех!»— говорю я с такой же интонацией.

Мы невесело смеемся.

С этого дня завод как-то залихорадило. По коридорам на всех парах забегал народ со списками. Кое-где важно проезжали кары, груженные колбасой. Их провожали глазами. Никто не работал. Я ткнулась было в отдел труда за потерями рабочего времени, но меня спросили — неужто делать больше нечего? — и я стыдливо закрыла дверь с той стороны. Проходя отсек, где располагались кабинеты директора, главного и замов, я удивилась. Благородная тишина и покой, надо же! Впрочем, им же не надо было бегать и нервничать, они были выше этого.

Постепенный рост психоза скоро привел к первой драме. В деревообделочном крановщица только поступила на работу, боялась, что ее не включают в списки по колбасе. Завидевши кар, груженный долгожданными ящиками, она ахнула, нажала на «стоп» и полетела вниз разбираться. Идет начальник цеха, глядь — над цехом плиты качаются на трех стропках, одна отвалилась. Его чуть кондратий не трахнул. Одурел мужик, стал везде крановщицу искать, а она там в ажиотаже у ящиков бегаёт. Он ей кричит с порога: «Иди на кран!», а она — сейчас да сейчас... Так с маху и перевел в разно-
рабочие.

Промелькнувшая как видение Серафима скороговоркой сообщила, что конторские будут получать последние. Хотели дать бухгалтерам, чтобы зарплату не задерживать, но ремонтники-связисты узнали и подняли бучу насчет рабочего класса.

А к нам опять звонили и ругались.

— Вы что же... Это самое... Учеников тоже не включили?

— Как не рабочие, это самое! На рабочем месте, они там, все. Значит, включайте.

— А нам сказали — в основной состав не входят.

— А вы и повторяете, это самое. Прихвостни.

В самый сумасшедший день позвонила с утра Серафима.

— Девчонки, сейчас перерыв, тут никого не будет. Бегите скорей, я вас отоварю, а то вы ни с чем останетесь, горемыки.

Мы с Мартой побежали по холоду раздетые, пока добрались — все мозги напрочь выдуло. Увидели — нелучистая, серая Серафима молча бухала что-то на весы.

— Что это? — мы разинули рты.

— Сервилат, велено оставить начальству. Хватайте свои палки и уходите. Да заверните, черт возьми.

Лихорадочно заворачивая добычу — а разве ее завернешь так, чтобы не угадать? — мы увидали в углу копошащуюся Сонюшку. Она-то от какого цеха? От того же, что и мы?

В коридоре послышался мерный топот и гул голосов.

— Японский бог! — дрогнула Сонюшка. — Засекут нас цеховые.

— А пойдем пятым этажом, не улицей, — бросила Марта, она никогда не терялась.

Марта мотнула головой, показывая, и мы понеслись как лошади. Впереди была необозримая бетонная дорога, вся в наплывах раствора, как застывшая река. На ходу попадались кучи досок и арматуры и мы старались перескакивать.

У большого пролета завиднелся дым. Люди в робах сидели и курили, что такого? Но мы ускорили шаги, стараясь их миновать поскорее.

Нас, конечно, заметили.

— Сучки завкомовские бегут, — звонко сказал молодой голос, — поди, урвали свою колбасу, заработали. Вот только каким местом?

Хохот, умноженный эхом, был ужасен.

— Давай отберем, — пробасил другой голос, — а? Небось, не пожалуются.

Громовой хохот!

— Марта, нам конец! — заблеяла я.

— Молчи! Бежим скорее!

Мы задыхались. Двое, кажется, погнались за нами, остальные улюлюкали. Нам казалось — подышаем. Рот пересох, в ушах стучало, ноги не слушались.

— Если... бро... сим...

— Не канючь,— обрывала Марта. Она была двужильная!

По лестницам ссыпались на карачках. Марта тут же положила добычу за окно и твердой рукой стала умываться. А во мне все дрожало. Может, они бы ничего не сделали, но как упустить случай, как не поглумиться над конторскими крысами... И вообще, что это за жизнь, когда за кусок колбасы... Уронив голову на руки, я разревелась... Надрывался телефон.

СОДЕРЖАНИЕ

От «Ростков» к «Ступеням». *Вступительное слово Ю. Леднева*

3

Стихов бездонная стихия

Наталья Маслова	6
Авенир Лазарев	22
Лариса Мокшева	33
Леонид Бриленков	38
Валентина Якуничева	53
Владислав Кокорин	55
Ольга Смирнова	61
Ольга Гаряева	66
Елена Васинцева	69
Надежда Крайс	73

Стихом и прозой...

Юрий Каранин	76
Лариса Новолодская	97
Александр Лукин	105
Михаил Жаравин	115

Все то, что рассказано...

Виктор Васильев	137
Юрий Богословский	153
Нина Бахтина	171
Владимир Реш	183
Михаил Колосов	194
Елена Волкова	220
Валериан Николаев	223
Руфь Рафалович	237
Глеб Сопин	244
Галина Шекина	248

Сдано в набор 04.03.91. Подписано в печать 22.05.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага писчая белая. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 14,28. Уч.-изд. л. 14,80. Тираж 1500. Заказ 2041. Цена 3 руб.

ВППО. Областная типография, 160001, г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.